



РУССКАЯ МИСТИКА

ПРОФЕССОР
БЕССМЕРТИЯ

МИСТИКА
И
МАГИЯ

Митрофан Лодыженский

Невидимые волны

«Public Domain»

1917

Лодыженский М. В.

Невидимые волны / М. В. Лодыженский — «Public Domain»,
1917

В повести «Невидимые волны» автор показывает путь от неверия и сатанизма к Богу. Повесть публиковалась в сборнике «Профессор бессмертия. Мистические произведения русских писателей», Феникс, 2005 г.

Содержание

Об авторе	5
НЕВИДИМЫЕ ВОЛНЫ	6
От автора	6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	7
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	35
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Митрофан Лодыженский НЕВИДИМЫЕ ВОЛНЫ

Об авторе

МИТРОФАН ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОДЫЖЕНСКИЙ

1852–1917

Философ, публицист, драматург, прозаик. Из старинного дворянского рода. Занимал высокие административные посты (губернатор, вице-губернатор в Туле, Витебске, Могилеве и других городах). Тончайший исследователь мистических устремлений христианской души, которому вместе с тем присуща динамичная, рационалистическая система мышления. Оказал глубокое влияние на мировоззрение Л. Н. Толстого.

Главный труд М. В. Лодыженского – «Мистическая трилогия» (в трех частях, Спб., 1914–1915) – философское исследование путей человеческих как к Богу, так и к Сатане.

В 1917 г. была опубликована повесть Лодыженского «Невидимые волны». В ней автор показывает путь от неверия и сатанизма к Богу. В повести мы встречаемся как и с реальными историческими персонажами, так и с вымышленными героями – колдун Батогин, странник Никитка.

В основу повествования легли семейные рассказы Сушиковых, родственников Лодыженского.

НЕВИДИМЫЕ ВОЛНЫ

От автора

Когда-то, во времена нашей юности, нам приходилось слышать не раз интересные рассказы одного почтенного старика-помещика, проведшего свою молодую жизнь довольно бурно, – человека, который в глубокой старости умер в монастыре, куда поступил в 1875 году под именем отца Вассиана. Содержание этих рассказов относилось к первой половине прошлого столетия. Оно заключало в себе богатый мистический материал.

В наше время многие интересуются вопросами из области таинственных явлений. Мы решили сообщенные нам эпизоды из жизни знакомого лица реставрировать в беллетристической форме и ввести их в предлагаемую ниже повесть.

Таким образом, в повести многие из приведенных мистических сцен не вымышлены, а действительно пережиты отцом Вассианом.

М. Л.

Петроград

1-е ноября 1916 г.

*Эта книга
посвящается сестре моей
Варваре Васильевне Сомовой*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Время нашей повести – тридцатые и сороковые годы прошлого столетия. Время это – эпоха расцвета крепостного права, на почве которого разгуливались человеческие страсти.

В те времена в одной из наших центральных губерний прославили себя бурной жизнью и яркими авантюрами двое господ из дворян-помещиков – отец и сын Сухоруковы.

Люди предприимчивые и страстные, жаждущие острых ощущений, любители рисковать – господа Сухоруковы творили в те времена невероятные даже для той эпохи дела. Нехорошая слава была у этих помещиков. В особенности дурно говорили о Сухорукове-отце. Плохая репутация отца ложилась и на сына. Широкая жизнь Сухоруковых требовала больших средств, и отец Сухоруков умел находить эти средства, изыскивая их всякими путями; изобретательность его не знала границ. Он создал, например, из своих крепостных людей целую организацию для спаивания окружного населения безакцизным вином – организацию, дававшую его винокурению большие доходы. Он вырубил у казны с помощью тех же крепостных людей и подкупа лесных надсмотрщиков корабельную рощу; отбил у одного монастыря находящиеся по соседству богатые рыбные ловли и дело об этих ловлях выиграл в тогдашней «Палате гражданского суда» и прочее и прочее. Местные власти по отношению к нему были бессильны. Умение Сухорукова дать взятку, его великая дерзость, наконец, само право крепостничества делали его неуязвимым. К тому же Сухоруковы обладали способностью привязывать к себе своих рабов. Из числа их они выбирали тех, на кого можно положиться. Все сходило с рук этим самоуправцам.

У старика Сухорукова были связи в Петербурге, оставшиеся после смерти жены. Он пользовался ими в крайних случаях, чтобы гасить те дела, которые грозили разгореться, несмотря ни на какие местные воздействия и хлопоты. Был еще у него в Петербурге брат-сенатор, но от него помощь для замазывания сухоруковских деяний была плохая. Этот сенатор, старый холостяк, человек сухой и надменный, относился к своему провинциальному брату с презрением, осуждая его жизнь. У него с братом были старые счеты. Они в молодости рассорились из-за дележа наследства после отца.

Жили помещики Сухоруковы широко. Это было разливанное море для приезжих гостей. В Отрадном, резиденции Сухоруковых, был большой барский дом, была великолепная охота, был конский завод и другие барские затеи.

Ко времени нашего повествования старик Сухоруков, которого звали Алексеем Петровичем, несмотря на свои 60 лет, был еще крепкий здоровьем человек. Он казался далеким от усталости жизнью. Он умел, по-своему, не скучать и разнообразить свои впечатления. Для его развлечения в Отрадном прикармливались приживальщики и шуты. В своих эротических забавах он обставлял себя всякими удобствами. Он не любил, как он говорил, «кислых историй» и развращал прекрасную половину человеческого рода ядом легкого эпикурейства, развращал своей веселой чувственностью. В женщинах он чуждался, как он говорил, «глубоких натур». Он уже осекся раз в жизни на такой натуре. Такой была когда-то его жена, которая давно уже умерла. За всю свою жизнь он, кажется, только одну ее и боялся. И надо правду сказать, что это была выдающаяся женщина по своей воле и уму. Кроме того, обладала она красотой и талантами и была очень религиозна. Иконостас отраднинского храма был расписан ее личными трудами; иконостас этот и по сей час цел. В его живописи чувствуется старинная манера письма. Это были копии с икон знаменитого Боровиковского.

Молодой Сухоруков потерял свою мать, когда ему было 11 лет. О ней у него осталось воспоминание, как о существе исключительно обаятельном. Мать умела привязать к себе своего ребенка. Она сама начала его учить, была ему воспитательницей. У ребенка были хорошие задатки; он был добр и отзывчив, несмотря на своеволие и страстность.

Приведем один случай из детства молодого Сухорукова, ярко его рисующий.

Васенька Сухоруков был большой любитель птиц и в особенности соловьев, которых имелось много в отряднинском парке. Когда Сухорукову было десять лет, один из дворовых людей рассказал ему, как можно поймать соловья. Васенька, выслушав этот рассказ, немедленно в уме своем решил, во что бы то ни стало, сам поймать птичку и посадить ее в клетку, которую он нашел на чердаке отряднинского дома. Мальчик он был бойкий; матери его, Ольге Александровне Сухоруковой, усмотреть за ним было нелегко. В начале весны под окном комнаты Сухоруковой в кустах завелся звонкий соловей. Ольге Александровне очень понравилось по вечерам слушать его пение. Но ее удовольствие длилось недолго. В один такой вечер соловей исчез, и песни его прекратились: его поймал Васенька. Тогда Ольга Александровна подняла тревогу: не поймал ли соловья кто-либо из дворовых или из детей-подростков с целью продать его в городе, так как соловей был очень хорош. Чтобы спасти соловья, Ольга Александровна приказала собрать к себе дворовых детей и подростков и пригрозила наказать их всех, если они не найдут соловья. При этом случайно присутствовал Васенька. И вот, не желая, чтобы кто-нибудь из детей за него пострадал, он улучил удобную минуту, побежал на чердак, где висела клетка, и выпустил соловья, рассчитывая, что соловей опять запоет под окном его матери. И действительно, в этот же вечер соловей опять защелкал и засвистал. Васенька был счастлив, что спас дворовых детей от грозившего им горя. Во всем этом он потом сознался.

Ранняя потеря матери отразилась на будущем мальчика. По смерти жены старик Сухоруков поручил дело воспитания Васеньки французскому гувернеру. Этот гувернер, по тому времени весьма образованный человек, наряду со своей образованностью был существом совершенно безнравственным. Его влияние на питомца, конечно, не могло быть полезным, но он все-таки исполнил свою задачу. В полтора года он подготовил мальчика для поступления в Москве в знаменитый университетский пансион, этот аристократический рассадник образования в России.

Юноша Сухоруков пробыл в университетском пансионе пять лет, но университетского курса не прошел. Ему очень хотелось скорее пожить на свободе, поступить в военные, надеть блестящую форму офицера, сделаться независимым человеком. И он добился согласия отца на поступление его, восемнадцатилетнего юноши, в один из гусарских полков, где его скоро произвели в офицеры. Прослужил Сухоруков на военной службе около восьми лет и вышел в отставку, вызванный отцом в деревню, чтобы разделить с ним его житье-бытье.

С приездом Васеньки к отцу жизнь последнего пошла более весело и оживленно. Молодой Сухоруков оказался приятнейшим компаньоном. Он так же, как отец, не чуждался греховной жизни, имел любовные приключения. Однажды даже на смену крепостной любовницы (ими он обзавелся сейчас же по приезде в деревню) привез из Москвы знаменитую в то время цыганку Стешу, которая влюбилась в черноглазого красавца-барина за его чудный голос и, что удивительно, имела терпение прогостить в Отрядном целых два месяца. Ведь никто, даже из настоящих цыган, не умел так хорошо играть на гитаре и ладно вторить, как «мил сердешен друг Васенька».

Мы застаем Сухоруковых в Отрядном – в имении, созданном трудами многих поколений, в самый разгар их широкой жизни. Все, казалось, у них тогда ладилось, все шло весело и беззаботно. Только немногие знали, что над этой их широкой жизнью стали собираться темные тучи, что у Сухоруковых уже не хватает денег на безграничные барские аппетиты, несмотря на ухищрения добыть их всеми способами.

Наконец, в самое последнее время – к началу нашего рассказа, стало выясняться, что Сухоруковскому состоянию грозит даже гибель, что уже пропущено несколько сроков платежа по залогоу имени в Опекунском Совете, этом благодетельном финансовом учреждении для тогдашних помещиков. А с Опекунским Советом в то время шутки были плохие, в особенности когда все законные льготы были исчерпаны. Тут уж никакой протекцией, никакими взятками от блюстителей казны отделаться было нельзя; накопилась же к платежу сумма весьма значительная.

И вот, чтобы спасти положение, старику Сухорукову сделалось необходимо раздобыть десять тысяч рублей ассигнациями; причем надежд на частные займы никаких уже не было. Все, что в округе можно было занять, было занято. Все источники были исчерпаны.

II

Молодой Сухоруков был богато одарен, начиная со своей внешности. В то время, когда застаёт его наше повествование, ему было двадцать семь лет. Это был человек полный сил, роста выше среднего, с тонкими чертами лица, с черными волосами синеватого отлива, с блестящими глазами и матовым цветом кожи. Был у него один недостаток – чувственные губы, но они маскировались густыми усами. Был он строен и породист, руки и ноги имел маленькие, как у женщины. В нем не было ничего вульгарного. Натура его была чисто художественная. Он обладал богатым воображением, был хорошим рассказчиком и мог нравиться, если этого хотел.

Наряду с этим это был человек вспыльчивый, страстный и смелый, любивший сильные ощущения. Офицером он участвовал в дуэлях; они, к счастью, оканчивались благополучно. В отрядных лесах он ходил один на один на медведя с большим риском. Сухоруков любил разгул, смеялся над добродетелью и попами. В его мирозерцании укладывались странные противоречия. На Сухорукова влиял его отец, Алексей Петрович, большой, как тогда говорили, вольтерьянец, и Василий Алексеевич был атеист; он отвергал Бога, но верил в привороты, верил в «особую силу».

Вера эта к нему пришла при совершенно особых обстоятельствах.

Его любовница из крепостных, жизнерадостная Машура, умевшая веселить сердце своего барина, красивая и беззаботная, вся насыщенная ядом чувственности, стала вдруг худеть и меняться в лице. Она занемогла «порчею». Ей по ночам снилось, что к ней ходит пугать ее и мучить страшный человек, лицо которого она не могла разглядеть. Оно было затянуто чем-то черным; видны были только глаза этого ночного посетителя, горевшие, как уголья; они жгли ее и пугали.

От этого кошмара она ночью стонала и просыпалась с криком. Сны стали повторяться почти каждую ночь. Машуре становилось невмоготу. Пришло дело к тому, что Машура начала просить Василия Алексеевича отпустить ее на побывку в один скит к живущим там «божьем людям». До Машуры доходили заманчивые известия об этой сектантской обители, находящейся в глухих чернолуцких лесах, верстах в двухстах от Отрадного. Там поселилась крестная мать Машуры, Таиса, которая настойчиво звала к себе крестную дочь погостить. Вот в этот скит и начала Машура проситься у своего барина. «Надо покаяться, – говорила она. – Надо замолить грех свой, а то я совсем пропаду... Вам же от того хуже будет, барин мой милый... Ведь другой такой, как я, ты не найдешь. Сам жалеть будешь».

Сухорукову не хотелось с ней расставаться, «Отойдет... Пустяки! – утешал он Машуру. – Мы и без скитов тебя вылечим. Позову Никитку, он тебя и отчитает».

– Не хочу я, барин, вашего Никитку, – говорила Машура. – Отпусти ты меня, ради Христа...

Сухоруков упирался, обещал подумать.

Никитка, о котором шла речь, был странник, навещавший нередко Отрадное, ибо получал там за свои любопытные разговоры и причитания мзду от господ. Он странствовал и жил, выражаясь старинным языком наших летописей, «посреди градов и сел в образе отшельника, волосат и в монашеской свитце и был бос». Однако, несмотря на это, местное духовенство его не любило, говоря про него, что он это творит «не для Господа, и не в Господе, а тщеславия ради да прославиться в народе, яко святой».

Никитка не был еще стар; было ему немного более сорока лет. Он был худ телом; глаза черные, бегающие; бородка маленькая, а волосы на голове густые и всклокоченные. Ходил он и зиму, и лето без шапки; носил толстую, как говорили тогда, «пасконную» рубаху, подпоясанную веревкой. Волосатая грудь его была обнажена, и был он очень грязен. Зимой он одевался в старую монашескую свиту, которой покрывался на ночь, когда ложился спать.

Характера он был неровного. То бранился, как разнузданный мужик, то пел псалмы и возводил очи к небесам. О себе он был высокого мнения. «Бога видел, Бога самого видел, – говорил он про себя, – Христа за ручку держал, ножки у него целовал».

Водки Никитка не пил, но любил полакомиться вкусной пищей. Любил также бабьи хоровады, и было иной раз удивительно для местных жителей видеть его в бабьем кругу приплясывающим под их песни. Деньги, что он получал от дателей, раздавал кому вздумается, но предпочитал дарить бабам, которые были покрасивее. Плотскому греху он не предавался. «Чист, чист, – говорил, – красоты мне надо ангельской; улыбнись, милая, а тело твое для меня – что псина».

Впрочем, про него говорили, что у него был какой-то физический недостаток.

Этот Никитка пользовался в округе авторитетом как бы святого человека. Шла молва, что он творит чудеса, излечивает от болезней, указывает, куда делась украденная вещь. Благодаря его таинственным сведениям господам Сухоруковым однажды удалось разыскать уведенного у них рысистого коня, оказавшегося за сто верст в соседней губернии. Многие из мужиков побаивались Никитку, побаивались его черного глаза.

Несмотря на протесты Машуры, не желавшей Никитки, Сухоруков решил все-таки воспользоваться его помощью, так как вычитал в одном французском журнале об опытах знаменитого француза Месмера, излечивавшего особенным образом своих больных. «Наш домопощенный Никитка стоит этого француза, – думалось ему. – В нем что-то есть... недаром про него народ болтает, об его заговорах и исцелениях... И лошадь мы тогда преудивительно нашли».

По приказанию Василия Алексеевича Никитку разыскали и представили пред барином.

Обласкав Никитку, Сухоруков повел его в свой кабинет. Ему хотелось поговорить с ним без посторонних – дело было секретное.

Войдя в комнату вместе с барином, который уселся в вольтеровском кресле, Никитка прежде всего отыскал глазами образ, висевший в переднем углу, стал пред образом в торжественной позе, несколько раз перекрестился широким взмахом правой руки и поклонился иконе «истовым» поклоном, стукнув лбом об пол. Операцию эту Никитка проделал три раза.

«Мир вам и мы к вам, – забормотал он скороговоркой, – всех чертей тебе, коли нужно, разгоню... Эка табачище-то у тебя какой крепкий», – сказал он, глядя на Сухорукова, который успел раскурить трубку. «Ну и навешано у тебя тут! – продолжал Никитка, оглядывая стены и указывая на висящее оружие, – эка струмента-то!..» Сухоруков с благосклонной улыбкой смотрел на странного гостя.

– А ты прикажи мне угощение дать, – заговорил опять Никитка. – Севрюжки желаю... Монашеской рыбки... Я тебе акафист прочитаю коротенький, о древе требла– женном расскажу. Это очень полезно. Об чувствах человеческих... И насчет баб указание тебе дам, – сказал Никитка многозначительно и уперся своими черненькими глазками в барина.

– Вот насчет бабы-то мне и нужно с тобой поговорить, – отвечал Сухоруков.

– Ослабла твоя-то? – нащупывал Никитка.
– Не ослабла, а заболела... И болезнь особенная; говорит, что ее злые люди испортили с зависти... По ночам кричит, мечется. Сны ей дурные снятся... Хочет в монастырь бежать...
– Жалко?
– Привык я к ней, – сказал Сухоруков. – Впрочем, что там об этом... Вот кабы ее нам вылечить, – переменял он разговор. – Можешь?..
– Нужно повидать, миленький.
– Повидать-то, повидать... это хорошо, да боится она тебя... А надо бы вас вместе свести. Коли ты берешься ее вылечить и вылечишь – ничего не пожалею.
Никитка задумался. Прошло несколько секунд молчания.
– Ишь ты! боится... – заговорил Никитка. – С чего это ей? Знаю я ее, твою Машуру, видал в хороводах... Ядреная. Ты вот что, миленький, – объявил он наконец, – ты ночью меня к ней приведи, когда она спать будет... Тут я ее и отчитаю...
Сухоруков изъявил согласие. Порешили ехать завтра в полночь на лесной хутор за десять верст, где жила Машура полной хозяйкой со своей матерью Евфросиньей.
Перед этой поездкой Сухоруков надумал вызвать к себе Евфросинью, предупредить ее о своем посещении и строго наказать, чтобы Машура никоим образом об этом не знала; никак ее ночью не будить, даже собак увести со двора подальше, а то они, пожалуй, разлаются, когда приедут ночные гости, и потревожат Машуру своим лаем.

III

Была уже полночь, когда молодой Сухоруков на длинных беговых дрожках, сам правя лошадей, подъезжал к хутору Машуры. Дорога, по которой он ехал, шла извилинами через большой отграднинский лес. Сзади Сухорукова на дрожках примостился странник Никитка. Хотя Сухоруков хорошо знал любимую дорогу, но он все-таки в эту ночь пробирался тихо, легким шагом, ибо в лесу было темно. Наконец, после часа такого путешествия мелькнул за деревьями огонек. Это Евфросинья стояла на крыльце с фонарем. Она поджидала барина, прислушиваясь и всматриваясь в темноту.

Еще несколько минут, и дрожки с седоками вынырнули из ночной темноты в полосу света от фонаря. Гости подкатили к крыльцу. За дрожками показалась фигура верхового, который сейчас же спешил и принял господскую лошадь. Все это делалось в полном молчании. Сухоруков и Никитка взошли на крыльцо.

– Спит? – спросил Сухоруков.
– Заснула, кормилец, – заговорила Евфросинья с низкими поклонами. – Только все-таки тревожна очень. Сейчас кричала... На постели вся разметалась... Зазорно ее, – добавила Евфросинья шепотом, – такую-то старцу показывать...
– Ничего, ничего... Он у нас свой, – сказал Сухоруков.
– Пожалуй, отец, не обессудь, – обратилась Евфросинья к Никитке, провозжая приехавших в чистую светелку, предназначенную для гостей.
– Веди, веди... Не робей Никитки... Никитка слова заговорные знает... Никитка праведен есть, – забормотал странник.

Евфросинья ввела гостей в светелку. Было в ней чисто и уютно. На столе, покрытом белой скатертью, горели две свечи в старинных бронзовых подсвечниках. Стены были бревенчатые, гладко обструганные. Пахло сосновой смолой. На окнах висели чистенькие кисейные занавески; по стенам стояли простенькие стульца. Стоял тут еще старый комод с медными украшениями да стеклянный шкафчик с блестящей в нем вычурной фарфоровой посудой.

Тихо и осторожно отворила Евфросинья дверь из светелки в опочивальню. Она была слабо освещена. В углу комнаты горела лампада перед иконой в серебряной ризе. На цыпочках, крадучись, вошли в спальню Сухоруков и Никитка.

Там, в глубине, на широкой кровати, лежала Машура, освещенная мерцающим светом лампы. Одеядо упало на пол. Она лежала ничем не покрытая. Густая черная коса ее разметалась по подушке, оттеняя белизну лица. Дыхание было тревожное; она тихо стонала.

– Ох, хороша! – прошептал Никитка. – Надо непременно вылечить.

Сухоруков молчал и ждал, что будет дальше. Никитка подошел ближе к кровати.

– Молю Богу моему, – заговорил он негромко, – да снизойдет здесь благодать... Бог сделает то, что Никитка хочет...

Машура застонала еще сильнее. Сдавленный крик хотел вырваться из ее груди.

Тогда Никитка распротер над Машурой свою правую руку. Точно он хотел через пальцы этой руки перелить свою волю в Машуру. Он тихо продолжал что-то шептать.

Так прошло несколько секунд.

Вдруг Никитка решительно и смело положил широкую темную ладонь на грудь Машуры. Машура открыла глаза. Лицо ее покрылось ужасом.

– Спи, милая, – твердо сказал Никитка. Он не отрывал от нее своей руки и своих глаз. – Спи, приказываю тебе, – повелительно продолжал странник.

Машура закрыла глаза. Лицо начинало принимать спокойное выражение; стонов не было.

– Ну вот, и уснула, и стала тиха, – сказал Никитка Сухорукову, отнимая свою руку от больной и отступая от кровати. – Вот и благодать подействовала, и не стонет... И сама, гляди, как ангел, лежит, вся белая, только крыльев у нее нетути...

Сухоруков был поражен мощью Никитки. Он начинал в него верить.

– А эна что?! Смотри, видишь! – прервал вдруг молчание Никитка, указывая на изразцовую печь, расположенную в другом углу комнаты, освещаемую вспыхивающей лампадой, – видишь, он лезет... Видишь, – сказал вдруг, обернувшись резко к кровати Никитка, – перепрыгнул прямо к ней... На шею сел... Ах, ты, поганец! Сгинь, сгинь, – приказывал Никитка. – Ага, наша берет! – радостно забормотал странник, – сваливается... И видишь, видишь? – метнул Никитка глазами к печке, – упрыгнул... В пол уходит, а хвост у него длинный-предлинный, – говорил странник, указывая на щель в полу. – И хвост ушел... Неважный совсем черт... Бойся моей силы, – успокоенно объявил Никитка, – бывают много хуже...

Сухорукова охватило неприятное чувство. Мерцающая лампада давала странные очертания некоторым предметам комнаты.

– Пойдем, – сказал он Никитке, – ведь заснула?

– Нет, миленький, надо кончить. Надо молитву сотворить.

Никитка стал в молитвенную позу; он начал свои торжественные поклоны перед иконой, размахивая правой рукой, творя крестное знамение и бормоча молитву. Длилось это несколько минут. Наконец он опять подошел к спящей и положил на нее руку.

– Спи, милая, до самого солнышка спи, – властно приказывал он. – Спи, пока пастухи не заиграют... И от сегодняшнего дня завсегда спать тебе тихо и без снов, слышишь?... Это приказываю тебе я, Никита-чудотворец, – сказал он торжественно.

В комнате было тихо. Машура спала, дыша ровно и спокойно. Странник снял с нее свою руку.

– Ну вот, дело и сделано, – обратился Никитка к барину. – Сего злого беса я благодатью живущего во мне духа изгнал. Отныне она будет спать хорошо.

И действительно, после этого их посещения хутора порча с Машуры была снята. Машура вылечилась от страшных своих снов; она опять сделалась забавной барской любовницей.

Никитка сделал свое дело. Сухоруков после описанной нами ночи уверовал в заговоры и особую силу. Этот скептик, не веривший в Бога, уверовал в чудеса Никитки.

IV

Мы уже упоминали выше, что к началу нашего рассказа сухоруковскому состоянию грозила гибель, что для спасения Отрадного явилась необходимость раздобыть, во что бы то ни стало, десять тысяч рублей ассигнациями, что у старика Сухорукова надежд на частные займы не было, что все источники законные и незаконные были исчерпаны.

В эту критическую пору, когда надо было спасать положение, у Алексея Петровича Сухорукова сложилось отчаянное решение раздобыть эти деньги способом крайне рискованным.

Верстах в сорока от Отрадного проживала в своей усадьбе старуха-помещица по фамилии Незванова. Эта была одинокая женщина, достаточно обеспеченная, но большая оригиналка по образу жизни. Жила она скупой, вроде гоголевского Плюшкина, но иногда позволяла себе необычайные траты. То вдруг вздумает полюбоившихся ей девок из своей деревни или из ближайшего большого села награждать приданым перед замужеством, то начнет выкупать от рекрутчины крестьян, попадавших в солдаты из числа женатых. Порывы к такой благотворительности у нее проявлялись не часто и как-то стихийно. На нее это находило полосами. Мужики Незванову любили. «Наша Незваныха разгулялась», – говорили они про нее в этих случаях. Была эта помещица очень благочестива.

В округе шла молва, что у Незвановой имеются немалые денежки, что у старухи накопилась порядочная сумма, которую она бережет в своих сундуках. В те времена ни банков, ни сберегательных касс не было. Денежным людям приходилось прятать сбережения дома, скрывая по возможности свои средства.

У Сухорукова-отца зародилась дерзкая мысль относительно этой старухи, мысль совсем даже невероятная для его положения большого барина, каким он себя прославил в губернии. У него зародилась мысль отобрать деньги у помещицы Незвановой, у этой ханжи и святоши, как он себе ее представлял. С Незвановой он знаком не был, но до него доходили разные сведения. Сухоруков решил поручить это дело своему сыну. «Пускай и он постарается, – думалось ему. – Ведь обоим нам выкручиваться». Для осуществления предприятия отец снабдил сына советами и средствами. Сделать это можно тонко и осторожно. Сын может для этого наладить людей из наиболее смелых и рабски преданных крепостных. Старуха Незванова живет сравнительно недалеко от Сухоруковых. Никому в голову не придет на них, Сухоруковых, подумать, когда затеянное будет исполнено.

Василий Алексеевич знал от отца, что дела их последнее время пошатнулись, что им может угрожать катастрофа. Однако он верил в отца, верил в его умение выходить из трудных положений. Это отцовское умение проявлялось раньше в остроумных комбинациях, которые старику удавалось осуществлять. Но Василий Алексеевич никак не предполагал, что отрадинские дела стали уж так плохи что придется прибегать к отчаянным средствам. К тому же молодой Сухоруков не был еще в такой степени испорчен нравственно, как отец. Ничего подобного ему в голову и прийти не могло. Его грешному образу жизни был все-таки еще положен известный предел.

Но вот однажды старик Сухоруков позвал к себе сына и открыл ему свои намерения. В первую минуту сын совсем было опешил. Он молчал и большими глазами смотрел на отца.

– Что ты так смотришь на меня, Василий? – сказал старик. – Что тебя так удивляет? Нужда, любезный друг, заставит калачи есть... И не то еще бывает... Ведь как тебе известно, есть два сорта людей. Есть люди умные и решительные, есть дураки и трусливые душонки. Бывают и гениальные люди, как наш гость недавний Наполеон, который, когда ему везло, преспокойно завладевал тем, что хотел взять. Мы с тобой, конечно, не Наполеоны... Куда нам в гении, но дураками тоже не будем. Не ложиться же нам под обух... А этой Незвановой деньги и не нужны. Она по глупости и скупости своей их копит. Проживет прекрасно и без денег.

У нее недурная деревенька. Таких глупых баб, как эта старуха, и поучить не бесполезно; не бесполезно для них же самих...

Василий Алексеевич не сразу пришел в себя от речи отца и сделанных предложений. Он просил отца подождать с окончательным решением. Он обещал дать ответ через два – три дня.

Здесь следует сказать, что, хотя влияние Алексея Петровича на сына было очень велико, Василию Алексеевичу было все-таки жутко очертя голову броситься в задуманное дело. Надо было собрать сведения, рассчитать шансы на успех. Надо было, наконец, проникнуться прочно доводами отца. Правда, положение было, как выяснил отец, отчаянное, но у Василия было другое препятствие: у него не заглохла еще внутренняя совесть. Подсознательная сфера предъявляла свои права. Бывали, хотя и редко, у молодого Сухорукова такие настроения, когда он вспоминал свою умершую мать – этот свет его души, свет, который в редкие минуты вспыхивал у него непроизвольно.

Но теперь, после разговора с отцом и некоторой внутренней борьбы, у Василия Алексеевича совесть стала отходить на второй план. Он был тогда далек от воспоминаний о матери. Мысль его окунулась в другую область.

Ему пришлось в голову посоветоваться со странником Никиткой относительно затеваемого предприятия. После излечения Машуры Василий Алексеевич уверовал в ум Никитки и его особую силу. Молодому Сухорукову казалось, что Никитка ему предан. Да наконец, думалось ему, если бы когда-нибудь Никитка и встал во враждебное отношение, то он в таком случае не мог бы ему навредить. Сухоруков не боялся открыться Никитке, считая положение этого юродивого совсем ничтожным. Да оно и было таковым в действительности в те времена крепостничества и самоуправства господ.

Кстати случилось так, что за Никиткой и посылать было не надо; не надо было его разыскивать. За последние дни Никитка поселился на хуторе Машуры рядом с ее домом в маленькой сторожке. Устроила Никитку в сторожке Евфросинья; она чувствовала уважение к страннику. О, на жалела «старца» – так она его называла, почитая за святого. Евфросинья уговорила Никитку хоть немного погостить на хуторе. Но «старец» неохотно примирялся с оседлым образом жизни. Он ежедневно исчезал с хутора, бегая по ближайшим деревням и по ярмаркам. Возвращался он к ночи, да и то не каждый день. Евфросинья старалась, чем могла, его пригласить. Никитка любил, как он сам признавался, монашескую икорку, рыбку, любил медком полакомиться. Все это в изобилии приносилось в сторожку. Сторожка была вычищена для Никитки, лавки вымыты. По стенам были расклеены лубочные картины поучительного содержания: о праведном житии или с устрашающими изображениями демонской силы, а также страшного суда с красным огнем и большим зеленым змием, поглощающим души грешников. В углу сторожки был поставлен аналой перед старинной деревянной иконой.

На аналое лежали восковые свечи. Все это было припасено для Никитки, который любил, как он говорил, предаваться по ночам «молитвенному деланию».

После беседы с отцом Василий Алексеевич ночевал у Машуры. От Машуры он зашел к Никитке в сторожку. Странник его встретил с великой радостью.

– Се припаду ниц к господину моему, – сказал он, отвечивая Василию Алексеевичу поясной поклон, касаясь рукой до земли.

– Не надо твоих поклонов, – сказал Василий Алексеевич. – Сиди смирно. Чего там раскланялся... Я не поп.

– Молю о тебе Господа Бога моего и денно и ночью, – продолжал тем же тоном Никитка, – ибо ежедневно мне от твоих милостей приношение, и самоварчик утречком несут, и угощение разное.

– Ну и отлично, коли нравится. Живи да поживай, – сказал Сухоруков, садясь на лавку.

– Ох, недолго сие будет, – отвечал со вздохом странник, – скоро мне в дальний путь, ваше сиятельство.

- Куда? – удивленно спросил Сухоруков.
- В Киев, родненький, в святые места... Душу томить вознестися горе... к угодникам Божиим...
- Однако с чего ты это вздумал? Когда ты едешь? – допрашивал Сухоруков.
- Не еду, а шествую по образу хождения пешего, и будет сие во вторник на той неделе. Сухоруков умолк. Прошло несколько секунд молчания.
- Вы, ваше сиятельство, насчет Машуры не сумлевайтесь, – осклабился вдруг Никитка. – Здесь я теперь, значит, не нужен. Она сейчас хорошо налажена...
- Не то, Никитка, не то говоришь, – резко сказал Сухоруков. – Не в Машуре дело... Другое тут есть, – начал Василий Алексеевич. – Ты знаешь ли старуху Незванову... Помещицу... Поблизости, в Чермошнях?
- Как не знать, – отвечал Никитка.
- Наверное, у нее бывал? Расскажи, как она живет. Мне хочется знать.
- Как живет? Да живет, мощну набивает, на сундуке сидит... Старухи тоже у нее разные... Ей все причитают: благодетельница ты наша, благодетельница, а за спиной у нее воруют, и староста ворует, а мужики пьянствуют. Меня не взлюбила, старосте велела прогнать; чуть собаками, окаянные, не затравили. Закричала на меня – пустосвят ты! А сама праведницу из себя строит. Тоже в церкву любит ходить... Свечи ставит... Ризы жертвует... По пяточку нищим подает... Дура!..
- А живет-то она как?.. С опаской?..
- Не знаю, ваше сиятельство, какие у нее там порядки. Я у нее всего один раз и был. Не взлюбила она меня... Да ты, сиятельство, что такое затеял? – сказал вдруг Никитка. Он воззрился своими черненькими глазками на Сухорукова.
- Сухоруков был не из робких. Прямота Никитки ему понравилась.
- Хочу с тобой посоветоваться. Ты ведь «старец», – сыронизировал Василий Алексеевич. – Хочу у старухи Незвановой денег занять.
- Дело мудреное, – сказал Никитка, пытливо смотря на барина. – Как у нее займешь? Какими молитвами подъедешь?
- В этом ты можешь мне пособить, – возразил Сухоруков. – Ведь наладил же ты тогда мою Машуру. Наладь и старуху: пускай она этот свой сундук мне отпопрет... Мы тогда и возьмем, что надо.
- Прошло несколько секунд молчания. Сухоруков внимательно смотрел на Никитку.
- Ишь, чего затеял! – тихо сказал Никитка.
- Деньги нужны, и деньги большие... – многозначительно и с расстановкой проговорил Сухоруков.
- Я тут ничего не могу, – объявил Никитка, почесывая затылок. – А вот человечка тебе в услужение для этого дела я укажу.
- Не можешь?! Почему не можешь? – допытывался Сухоруков.
- Сила в ней есть, в этой старухе, – заговорил странник. – Ее не переломишь... Я уже пробовал, не дается. Главное, к себе не подпускает... Только бы к ней подойти, тогда навалился бы... Да это все едино. Говорю тебе верно – я тебе хорошего человечка дам, – утверждал Никитка.
- Какого человечка? Ты не путаешь ли, любезный...
- Ничего не путаю, – отвечал Никитка. – Самый настоящий для этого дела человек. И у нее, значит, бывал; все ее повадки знает. Знает, где что лежит. Все тебе укажет и сон на нее наведет... Такой сон наведет, – продолжал многозначительно и с большим убеждением странник, – что ничего старуха не услышит. Приходи и бери, что нужно...
- Где же живет этот приятель твой? – заинтересовался Василий Алексеевич.

– И живет он от нее близко; всего в двух верстах на пасеке в лесу. Сам он пчелинец. И сила у него по заговору большая. Только вот насчет молитвы он плох; этого не может. Во святых ему не быть... – пояснил Никитка. – Не старец он а, значит, колдун... Креста боится...

– А ты креста не боишься? – спросил Сухоруков.

– Мне чего креста бояться. Наша жизнь праведная, – с гордостью сказал странник.

– Как зовут этого твоего колдуна?

– Зовут Батогиным, Иваном Батогиным. Он – казенный мужик, вольный. И живет он на опушке леса у самой дороги, – Странник стал подробно объяснять Сухорукову, как найти Батогина. – Да что там толковать, – закончил он свою речь, – я уж, куда ни шло, сам пособлю тебе. Вот сейчас, ваше сиятельство, в дорогу к нему и снаряжусь. К ночи туда доберусь. Его налажу... Объясню ему, что ты к нему приедешь... Когда ждать-то прикажешь?

– Как у тебя все скоро идет, – улыбнулся Сухоруков. – Ты лучше другое мне скажи – скажи, верный ли он человек? Стоит ли с ним связываться? – с сомнением в голосе проговорил Василий Алексеевич.

– Я тебе говорю, что будет для тебя верный, – убеждал Никитка. – Уж я его налажу. Ты мне верь. Как перед Христом говорю.

Сухоруков стал раздумывать. Убеждения Никитки на него подействовали.

– Что же, – сказал он наконец, – скажи, пожалуй, твоему этому колдуну, что завтра у него буду вечером, а там видно будет.

Сухоруков встал, потянулся и взял шапку. – Ну, Никитка, прощай... уезжать нужно, – объявил он.

Уходя, Сухоруков обратил внимание на аналой со свечами, стоявший в углу сторожки.

– Это что же у тебя, для молитв твоих пристроено? Спасаясь, старец? – спросил он с иронией.

– О вас, благодетелях моих, денно и ночью молю Бога моего, – отвечал Никитка тем же елеиным тоном, как и при встрече барина.

Сухоруков направился к двери, провожаемый низкими поклонами, вышел на крылечко. Стремянный поджидал барина с оседланной лошастью. Сухоруков легко вскочил на подведенного коня и благосклонно кивнул Никитке.

Улыбнулся он и Машуре, проезжая мимо ее домика.

Машура смотрела из оконца на своего повелителя. Она выглядывала из-за кисейной занавески, приподняв к глазам белую красивую руку, чтобы защититься от сверкающего солнца.

Она следила, как Сухоруков вышел от Никитки, как садился на коня, как, тихо проехав мимо ее окна, взглянул на нее с самодовольной приветливой улыбкой... как он после того быстро исчез за лесной чащей, сопровождаемый своим стремянным.

VI

Василию Алексеевичу надо было не медлить ответом отцу относительно предстоящего «сумасшедшего действия». Таким выражением Василий Алексеевич окрестил все это предприятие, затеянное отцом. С решением надо было спешить, потому что положение отряднинского имения было действительно критическое. После описанного разговора с сыном отец уже на другой день несколько раз посылал за ним на его половину, но того не было дома. У старика, что называется, загорелось. Он чувствовал, что срок последнего платежа подходит, что дни сочтены.

И вот, в тот же день, когда Василий Алексеевич имел описанный нами разговор со странником, он, обдумав наскоро предприятие, объявил вечером отцу, что согласен решиться, что отважится на рискованное дело. Он передал отцу, какой у него сложился план будущих действий. Завтра он с доезжачим Павлом Маскаевым, человеком самым отчаянным из всей господской

дворни, отправится вечером на верховых лошадях к колдуну Батогину за сорок верст на его хутор, что в двух верстах от Незвановой. Доезжачий Маскаев был выбран Сухоруковым как верный слуга и еще потому, что раньше бывал в усадьбе старухи. У него там когда-то жила родственница. Этот Маскаев знал расположение усадьбы, знал даже расположение некоторых комнат в барском доме. Прибыв к ночи с Маскаевым на хутор колдуна, Сухоруков постарается получить от колдуна точные сведения относительно старухи. Если все сложится удачно, то Сухоруков тут же снарядит за деньгами доезжачего Павла. Сам же будет ожидать возвращения Павла с добычей в батогинской избе.

Сложился у Василия Алексеевича такой план, потому что он верил Никитке, верил в его рекомендацию колдуна, верил в особую силу, которую может проявить колдун. Он надеялся, что колдун может навести на старуху крепкий сон, надеялся, что все обойдется благополучно.

Предполагалось далее, что Сухоруков с Павлом вернутся домой к свету, когда дома все будут еще спать.

Для поездки решено было выбрать из конюшни двух самых выносливых лошадей, которые легко бы сделали с небольшой передышкой восемьдесят верст туда и обратно.

План этот был, конечно, отчаянный, но и положение в Отрадном было отчаянное. Надо было действовать. Отец одобрил план. На том и порешили.

VII

На следующий день около девяти часов вечера Василий Алексеевич с доезжачим Павлом Маскаевым приехали верхами к Ивану Батогину на его хутор. Еще в Отрадном, перед отправлением, Сухоруков посвятил Маскаева в цель поездки и в то, что он, Маскаев, должен исполнить. Василий Алексеевич обещал Маскаеву, если все удастся, дать вольную, т. е. предоставить ему то величайшее благо, о коем могли мечтать в то время крепостные. Маскаев поклялся барину, что готов для него в огонь и в воду.

Иван Батогин, к которому приехали ночные гости, был рыжий мужик лет около пятидесяти, плечистый, с крупной головой, ушедшей в крупные плечи. Смотрел он больше исподлобья. Взгляд его был суровый и тяжелый. Жил он на хуторе у самой опушки казенного леса со своим сыном Митькой, малым невзрачным, глухонемым от рождения.

Уже порядочно стемнело, когда Сухоруков с Маскаевым подъехали к хутору колдуна. Большая цепная собака, привязанная у самого крыльца батогинской избы, встретила гостей отчаянным хриплым лаем. Она бросалась во все стороны, как бешеная, вспрыгивала, становилась на задние лапы, удерживаемая цепью, опрокидывавшей ее назад. На крыльце показался колдун.

– Это ты Батогин? – спросил Сухоруков.

– Я самый и есть, – отвечал колдун.

– Странник Никитка здесь? Я его не вижу.

– На ярмарку ушел, в Кирики. Там нынче праздник.

– Ну, шут с ним, – сказал Сухоруков. – На ярмарку, так на ярмарку.

Он слез с лошади и передал ее доезжачему.

– Ты вот что, любезный, – обратился он к колдуну, – отвори-ка ворота. Мой человек лошадей на место у тебя поставит. Корму им дай.

– Дадим, дадим, – ответил Батогин. – Сами-то вы, барин, в горницу пожалуйте.

– Прежде чем в избу звать, собаку от крыльца отведи. Видишь, бросается.

Колдун цыкнул на собаку и оттянул ее от крыльца.

– Пожалуйте, барин. Я вас с самого вечера жду, – продолжал колдун нежным тоном, который так не шел к его угрюмой фигуре. – Сейчас к вам приду.

– Маскаев! – крикнул Сухоруков доезжачему. – Ты пока побудешь с лошадьми. Я тебя позову.

Сухоруков вошел в избу. Осмотревшись, он сел на лавку. Изба освещалась лучиной, воткнутой в рогульку, укрепленную на печке. Лучина горела, мерцая, и трещала, давая копоть. В избе было неприветливо и пусто. Стены были закопчены, и кроме длинных лавок, небольшого стола в углу, да неуклюжей печи рядом с входной дверью, ничего не было.

Немного погодя вошел в избу и колдун. Он плотно притворил за собой дверь.

– С самого вечера вас, барин, ждал, – заговорил Батогин тем же сладким, мягким тоном, что и при встрече. – Уж это Никитка за вас больно просил. Что ж! Мы, значит, постараемся...

– Постараешься – награждение получишь, – благосклонно произнес Василий Алексеевич. – Сухоруковы мужиков не обманывают.

– Денег мы не берем, – угрюмо отрезал колдун. Сухоруков с удивлением посмотрел на колдуна.

– Денег мы не берем, барин, – продолжал колдун. – Мы, значит, из чести... И, окромя того, я на нее зол... Она про меня дурную молву распускает. Посмотрю теперь, как она завертится, когда деньги у нее вынут.

– Это хорошо, Батогин. Ты мне нравишься.

– А кто у вас к ней... забираться будет? – спросил вдруг колдун. – Кто деньги-то будет красть? – приступил он к делу довольно бесцеремонно. – Вы сами или этот, что ли, что с вами приехал?

Сухорукова покорило, но он сдержался и ответил:

– Думаю доезжачему поручить. Маскаев здешние места знает. В ее усадьбе бывал и малый лихой.

– Пособим, пособим, – сочувственно продолжал колдун. – Очень даже хочу вам, барин, пособить. И знаем мы хорошо, где деньги у нее лежат. Лежат они в спальней, в киоте за образами. Там у нее железная небольшая шкатулка спрятана... устюжской работы... Замок у шкатулки со звоном... В ней и ассигнации и деньги... Прямо бери ее целиком, и ломать не надо... И окошко в спальней от земли не высоко... в сад выходит. И собак в саду нет. Надо, значит, забраться от реки прямо в сад...

– Спит-то она одна? – решил, наконец, спросить Сухоруков.

– Одна спит, – отвечал колдун, махнув рукой. – Правда, старухи там у нее две рядом в комнате, да они не слышат...

– Это все хорошо... А вот что ты мне скажи, – многозначительно проговорил Василий Алексеевич, – ты на нее сон крепкий отсюда навести можешь?

Батогин молчал.

– Ты мне серьезно ответь, – продолжал Василий Алексеевич. – Я буду с тобой откровенен... Ведь, сам понимаешь, риск тут большой. Не хочу я доезжачего подводить, да и для себя зорно в уголовное дело вляпаться.

– Коли он пособит, тогда все можно, – отвечал твердо Батогин. – Могу тогда и сон на нее навести...

– Кто это он, пособит?

– Недогадливый ты, барин, – мрачно сказал Батогин. – Если хочешь назову: диавол.

– Что же... ты с ним разговоры поведешь? – допытывался Сухоруков.

– Вместе поведем эти разговоры; с тобой вместе... в компании, значит, – сказал Батогин, – пойдем вместе ведовать.

– Это что же будет?

– Там в лесу у меня место такое есть... Я сейчас сына пошлю костер развести. Там и увидишь, что будет.

– Маскаева брат? – спросил после раздумья Сухоруков.

– Нет, пушай выспится около лошадей... Ему проспаться надо, коли решил ты его к ней снаряжать... Вот что, барин, я пойду сейчас к лошадям; ему заодно все скажу, как и что надо делать... А когда ему идти, вы уж, значит, сами его позовете и ему прикажете...

Сухоруков кивнул головой в знак согласия. Колдун вышел из избы.

Сухоруков понимал все значение согласия, данного колдуну, понимал значение происшедшего с колдуном разговора. Но это не пугало Сухорукова. Он был не из робких. «Решаться так решаться...» – пронеслось в его голове.

Через несколько минут колдун вернулся.

– Объяснил все и уложил Маскаева спать в телегу, – объявил Батогин, – и сына послал в лес костер разводить.

Колдун подошел к столу, за которым сидел Сухоруков. Постояв немного, он сел на лавку рядом с барином.

– Мы с тобой здесь пока, значит, посидим да покалякаем, – сказал он довольно фамильярно. – Уж ты позволь мне посидеть около тебя, уморился я стоять-то...

Сидя на лавке у стола, Батогин поглядывал исподлобья на Сухорукова. Он, по-видимому, не особенно стеснялся своего гостя.

Лучина вспыхивала и освещала скуластое лицо колдуна, обросшее рыжей бородой, с волчьим тяжелым взглядом. Вся эта обстановка общения с колдуном для Василия Алексеевича казалась совсем странной. Этот дерзкий мужик, сидящий рядом с барином, был явлением, по тогдашним временам, необыкновенным.

– Тут еще одна закавыка есть, – прервал наконец молчание колдун. – Крест может вам помешать... Все дело может испортить...

– Крест! Какой крест? – удивился Сухоруков.

– А который у тебя на шее. Его надо снять! – сказал Батогин. – Крест ты с себя, значит, сними.

Лицо Василия Алексеевича сделалось серьезным.

– Креста я не сниму, – сказал он. – Это благословение моей матери.

– Тогда нечего нам и соваться, – объявил колдун. – Тогда сами, барин, делайте... Дело ваше и ответ ваш. Коли ты в кресте будешь, я ведовать не пойду.

Тяжело было Сухорукову расстаться с заветной вещью, хоть он и смеялся, как он говорил, над всяким таким суеверием. Крест этот был все-таки дорог Василию Алексеевичу. С мыслью о нем соединялось воспоминание о матери. Он вспомнил, как она однажды, обнимая его, еще ребенка, надела на его шею этот крест на золотой цепочке.

– Ну что же, барин, надо решаться, коли удачи хочешь. Чего тянуть-то... – настаивал колдун.

Сухоруков сделал усилие, отстегнул ворот, снял крест на цепочке с шеи и положил его на стол.

– За печку его закинь, – не унимался колдун. – За печку надо его бросить, – пояснил он.

Сухоруков взял со стола крест, подошел к печке и бросил его за трубу.

– Ну вот, теперь ладно! – сказал Батогин. – Теперь можно и в лес.

Колдун снял со стены висевший на гвозде фонарь, вынул из него сальную свечу, зажег ее об лучину и поставил свечу опять в фонарь на свое место. Лучину он погасил.

Они вышли.

VIII

Летняя ночь пахнула своим дыханием на Сухорукова, когда он вместе с колдуном вышел из избы. Царила торжественная тишина. Тишина эта была неожиданно нарушена рычанием собаки, лежавшей под крыльцом, но собака тотчас умолкла, получив окрик от своего хозяина.

Василия Алексеевича всего сразу охватило впечатление от этой торжественной ночной тишины. Его охватило впечатление от чистого, прозрачного небесного свода, распростертого над ним, безмолвно на него смотревшего; от горевшего тысячами звезд бездонного пространства небесного – пространства с мириадами неведомых жизней... Что-то таинственное было во всем этом, что-то бесконечно значительное, проникавшее глубоко в душу... Что это было такое, Василий Алексеевич не понимал. Но то, что он сейчас почувствовал, унесло его далеко от совершившегося в избе.

– Сюда, барин, не споткнись, тут канавка, – говорил колдун, идя впереди Сухорукова и освещая путь фонарем. Они обходили пчелиную пасеку. Колодки пчел вырисовывались в стороне.

Они вошли в лес, скрывший от глаз Сухорукова небесный свод. В лесу было темно, так темно, что без фонаря и сам колдун не пробрался бы по извилистой тропинке.

Не мог отдать себе отчета в своем теперешнем душевном настроении Василий Алексеевич. Ему стало вдруг тяжело.

«Откуда эта тяжесть?» – спрашивал он себя. Ведь вот теперь, решаясь на рискованное дело, которое должно было спасти свободу его и отца, спасти их право удовлетворять своим желанием наслаждаться жизнью, как они хотели, – идя на это дело, он, Сухоруков, привыкший верить в себя, в силу своих решений, в свою удачу, вдруг ощутил какую-то жуть.

И чего ему было бояться? Все, казалось, ладилось... Безумное предприятие обещало осуществиться. Ведь не в таких еще переделках он бывал... Пережил он сколько раз и отчаянный риск бретерства и дуэли... И поединок один на один с медведем. Что же сейчас его томило и мучило? И эта чудная ночь, которая так сразу его охватила, и она куда-то ушла, и на сердце лежит камень, лежит мучительно, и он, Сухоруков, не может с себя его стряхнуть...

«Это крест я с себя снял, – мелькнуло в мозгу Василия Алексеевича, – мать обидел». Но на это сейчас же появилась на лице его насмешливая улыбка. В ответ у него сейчас же блеснула ироническая мысль: «Где это она там? Откуда это видит? Чего я кисну!.. Ведь это же все дурацкие страхи».

Он шел за колдуном, погруженный в свои тревожные думы.

Колдун медленно продвигался вперед по тропинке, минуя разные преграды, которых бывает так много в дремучем лесу. Он освещал фонарем дорожку. От фонаря ложились причудливые тени по ближайшим сучьям деревьев и по кустам. Шаги пешеходов тревожили ночную тишь... Вот они спугнули из мелькнувшего дупла какую-то большую птицу, которая пролетела в сторону, резко захлопав крыльями. Пройдя еще немного, колдун и Сухоруков вошли в сосновый лес с красными стволами, поочередно освещаемыми фонарем. Наконец вдали за деревьями показался огонек.

– Это Митька костер зажег... – пояснил колдун. Еще несколько минут, и они вышли на небольшую поляну посреди старого хвойного леса, стоящего стеной вокруг. Место было глухое.

На поляне горел небольшой костер. На фоне костра вырисовывалась фигура сидящего у огня сына колдуна. Митька подкладывал в огонь хворост, набранный в лесу.

Колдун и Сухоруков подошли к костру. При свете огня было видно, что здесь место кругом костра было расчищено, что была снята трава – был сделан ток, как это делают мужики на гумнах для молотбы хлеба.

– Вот, барин, здесь и остановка, здесь и посмотришь, как мы с Митькой колдовать начнем, – сказал Батогин. – Только... чур, не пугаться... робеть нельзя. А Митька у меня малый твердый и все понимает, даром что глухой и немой, – разъяснял колдун. – Митька глаза моего слушается; он чувствует, что надо. Вы, бары и офицеры там разные, этого не понимаете... не понимаете, как в молчанку можно разговаривать и приказания давать, а мы знаем, что такое дух, какая в человеке сила...

Митька обернулся лицом к отцу. Лицо Митьки ослабло улыбкой. Точно он действительно понимал, о чем сейчас говорил отец.

Колдун взял топор, лежавший у костра, направился к лесу и скоро исчез в темноте.

Вся эта необычайная обстановка, в которую попал Сухоруков, эти странные отец и сын, приготовлявшие что-то таинственное и значительное, не могли не поразить воображение Василия Алексеевича. Нервы его были напряжены. Он внимательно вглядывался во все окружающее. Он обратил внимание на то, что около огня, кроме небольшой кучи хвороста, лежала еще другая куча с какой-то не то хвоей, не то травой. Сухоруков недоумевал, зачем это колдун взял топор и ушел.

Через несколько секунд это разъяснилось – колдун вернулся к костру, держа в руках небольшой кол. Он нагнулся у костра и начал топором его обтесывать и заострять.

– Что это у тебя здесь приготовлено? – сказал Сухоруков колдуну, показывая на кучу с травой.

Колдун оторвал голову от работы и, взглянув на Сухорукова, ответил:

– Это, барин, вереск. Разве не знаешь? Не видывал? У нас в казенном лесу его много. Мы его жечь будем...

Колдун закончил обтесывать и заострять кол, бросил топор на землю. Сухоруков заметил, что лицо колдуна сделалось сосредоточенным и серьезным.

– Ну, барин, я дело начну, – строго объявил Батогин.

Колдун встал в торжественную позу перед костром и что-то забормотал. Он приподнял кол острием вверх над головой и держал его таким образом несколько секунд. Затем он внезапно обвел колом вокруг своей головы, продолжая тихо говорить что-то непонятное. Пробормотав еще немного, он отошел от костра и начал острием кола, нажимая на него во всю силу, очерчивать линию вокруг костра.

Сухоруков с любопытством молча наблюдал за колдуном; он проникался серьезностью того, что делалось. Василий Алексеевич сознавал, что не следует разными вопросами мешать Батогину, не следует выбивать его из его настроения.

Когда колдун очертил на току острием кола большой круг, то, обратившись вдруг к Сухорукову, повелительно ему сказал:

– За круг, барин, не ходи. Там опасно. Стой у костра.

Василий Алексеевич решил во всем повиноваться колдуну и не двигался. Между тем Митька, расположившийся у самого костра, поддерживал огонь, бросая хворост.

Огонь разгорался, охватывая своим прерывистым светом весь ток с резко очерченной линией, охватывая и густую траву за границей тока. Лишь немного дальше свет этот поглощался окрестной тьмой, в которой тонула стена деревьев, окружавших поляну.

Колдун приступил к заклинаниям. Он взял небольшую охапку вереска и бросил его в огонь. Вереск затрещал, от него поднялся беловатый дым.

Сухоруков почувствовал одуряющий запах вереска. Колдун стоял у костра в самом чаду... Сначала он бормотал что-то негромко, потом стал издавать глухим голосом какие-то странные завывания. Что это были за звуки, Сухоруков не мог уловить. Это были бессловесные звуки с различными переливами и интонацией без всякого ритма и правильности. Временами это было что-то судорожное, дрожащее, иногда как бы задыхающееся, после чего вырывались даже вскрикивания. Колдун вдруг затрясся. Он побледнел и сделался страшен. Сквозь его вой Сухоруков разобрал прерывающиеся слова:

– Черная власть... Сила дремучая, начинай... Злоба могучая, пособи... Все тебе отдали... Кресте себя снял...

«Опять крест!»... – Сухорукову сделалось больно и жутко на душе.

Колдун повернулся в сторону усадьбы Незвановой. И вот что Сухоруков отчетливо услышал из заклинаний колдуна.

– Вырви ей глаза... Вырви ей сердце. Пусть спит... Без просыпу... Всю эту ночь. Но тут случилось нечто совсем неожиданное.

Колдун закричал отчаянным голосом, что есть силы. От его крика эхо отозвалось в лесу. «Вижу ее, – закричал он, – вижу, стоит у киота... молится... крестится!» После этих слов колдун грохнулся всей своей тяжестью около Сухорукова на земляной ток. Словно что-то швырнуло его на землю.

Сухорукову сделалось совсем страшно. Он едва не бросился бежать из круга. Вдруг ему показалось, что кто-то схватил его сзади за плечи. Тут же он почувствовал, что его больно кольнуло в поясницу. Он чуть не вскрикнул.

Поверженный на землю колдун поднял голову, опираясь на руки. Он дико озирался кругом с запекшейся пеной у рта.

– Не могу, барин, – проговорил он наконец с блуждающим взором. – Не могу совсем... Она теперь молится... Сегодня надо бросить... Я весь истратился... Митька, – взглянул он на сына, – проводи барина домой, я потом приду. – Сухоруков тяжело переводил дыхание. Сердце его усиленно билось.

Митька, внимательно вглядываясь в отца, понял его и взялся за фонарь, который лежал тут же.

Сухоруков не мог больше оставаться. Что-то тяжелое давило его плечи, сдавливало сильнее и сильнее. Он рванулся из круга и пошел быстрыми шагами к лесу. Куда девалось его мужество! Митька кинулся за баринком. Они оба исчезли в темноте.

Колдун остался на току один. Он впал в забытие, лежал словно без чувств. Тихо стало кругом.

Костер догорал последним пламенем.

IX

Сухоруков, так стремительно рванувшийся к лесу по поляне, чуть было не упал, споткнувшись о небольшой пенек. Это заставило его опомниться и прийти несколько в себя. Он остановился. Перед ним стеной стоял темный дремучий лес. Василий Алексеевич не знал, куда идти. Его выручил Митька, который, подбежав к Сухорукову с фонарем, дернул барина за рукав и показал рукой направление. Они нашли тропинку и вошли в лес.

У Сухорукова было одно чувство, одно желание – уйти, скрыться, уехать домой, убежать, куда глаза глядят. Он был разбит нравственно и физически. Правда, физическое чувство боли и сдавленности в плечах, которое он внезапно ощутил после страшного крика колдуна и его падения, теперь прошло. Не было также и боли в пояснице, что так его тогда поразила; но ему все-таки было очень не по себе. Он чувствовал недомогание и не знал, что делать и куда деваться.

Они пришли в избу. Митька зажег лучину и сейчас же ушел. Сухоруков сел на лавку у стола. Он опустил на руки отяжелевшую голову и застыл в этой позе, ничего не видя и не слыша.

То, что совершилось сейчас в лесу, беспорядочно проносилось в его голове. Роились вопросы один за другим: «Какая это сила бросила колдуна на землю? Ведь притворства тут не было!.. Что значат эти крики колдуна, что „она молится“, что значат эти болевые прикосновения, которые он внезапно почувствовал?» Сухоруков начинал убеждаться, что действительно ощутил прикосновение какой-то силы. «Это было! Это было!» – говорил он себе.

Василий Алексеевич продолжал сидеть у стола в той же застывшей позе. Страшная усталость и недомогание, которые он чувствовал, брали свое. Лучина понемногу догорала, тихо потрескивая. Наконец она погасла, и в избе воцарился мрак. Сухоруков закрыл глаза... Еще минута, и он забылся в тревожном сне.

Сухоруков увидел сон, который ему остался памятен на всю жизнь.

Он увидел себя сидящим в своем кабинете. Перед ним стоял странник Никитка в почтительной позе и говорил ему: «Нешто забыл слова мои насчет молитвы. Ведь я говорил тебе, что молитвы колдун боится. Так и вышло... И крест снял ты, ваше сиятельство, без всякой пользы... Надо по-новому начинать... Кистенем ее, дуру, кистенем... Зови Маскаева. Он не промахнется... Пойдем во двор».

И вот Сухоруков видит, что они очутились на дворе батогинской избы. Маскаев спит в телеге. Они начинают будить Маскаева.

«Да ведь надо кистень ему дать, – вспоминает Сухоруков. – Кистень у меня на стенке в кабинете висит».

Сон переносит Сухорукова опять в кабинет. Ему чудится, что он ищет на стене между старинным оружием кистень, который третьего дня еще ему принесли мужики из разрытого кургана. Он его тут повесил. «Где же кистень?»

Но здесь случилось нечто страшное даже и для воспоминаний об этом сне.

Оторвавшись от стены, Сухоруков увидел в дверях свою мать.

Она стояла, как живая, – такая ясная, несомненная... и такая строгая. Она смотрела своими темными глазами на сына в упор. Она сделала несколько решительных шагов по направлению к тому месту, где был Василий Алексеевич, и схватила его за руку. Подвела сына к большому зеркалу, висящему в кабинете, и сказала:

– Василий Алексеевич, посмотрите, кто вы!

В зеркале Василий Алексеевич увидел дьявола. Сухоруков не сомневался, что это был дьявол, ибо он в зеркале увидел искаженное злобой обличье существа не то человеческого, не то звериного. Сухоруков не мог оторвать своего взора от этого страшного образа, на него смотревшего. И вдруг узнал в этом злом, отвратительном лице с искаженной улыбкой самого себя, свои черты. Это был его двойник. Сухоруков вскрикнул. Затем все смешалось.

Он проснулся и открыл глаза.

В избе брезжил свет. Рассветало. Василий Алексеевич поднял голову и провел рукой по лицу. Он окончательно пришел в себя, и в его душе произошел великий нравственный перелом. Он решил бросить все затеянное дело, хотя бы это грозило ссорой с отцом, хотя бы это грозило потерей положения богатого помещика.

Поднявшись с лавки, он увидел стоявшего в дверях колдуна. Тот, по-видимому, уже успел оправиться от ночной переделки и вернуться из леса.

– Не ладно спишь, барин, – сказал колдун. – Эка раскричался, словно тебя резали.

– Скажи Маскаеву, – объявил в ответ Сухоруков, – чтобы сейчас же седлал лошадей. Мне нужно домой...

Колдун посмотрел с удивлением на Сухорукова и вышел из избы исполнять приказание.

Через несколько минут лошади были подведены к крыльцу.

– Прощай, Батогин, – сказал Сухоруков провожавшему его колдуну и вскочил в седло. – Да, вот что, – объявил он, сидя уже на лошади. – Поищи мой крест у себя за печкой. Чтобы непременно его найти, слышишь! И мне представить в Отрадное.

– Сам поищи, – дерзко отвечал Батогин. – Сам забросил, сам и ищи. Твое дело.

– Коли не найдешь, – пригрозил Сухоруков, – пришлю сюда искать моих охотников. Они твою избу по бревнам разнесут.

– Присылай, коли охота. Не боюсь я твоих охотников, – огрызнулся колдун.

Всадники помчались домой.

Х

Василий Алексеевич со своим доезжачим вернулся в Отрадное утром, когда солнце уже порядочно поднялось. Старик Сухоруков еще спал. Обычно он вставал в восемь часов. Но в барской усадьбе жизнь уже началась. Дворецкий покрикивал на рабочих, которые мели двор. Садовники возились в цветнике; шла поливка клумб. Из людской, стоявшей в стороне от дома, доносились шутки и смех.

Василия Алексеевича встретил у подъезда его камердинер, старый Захар. Он принял с глубоким поклоном от барина шапку и арапельник и поспешил за барином в спальню, чтобы помочь скорее ему умыться, освежиться и привести себя в порядок после путешествия. Василий Алексеевич знал, что отец, как только встанет, немедленно потребует его к себе, на свою половину.

Здесь надо сказать несколько слов о расположении отрадинского дома.

Дом этот представлял из себя в действительности три отдельных здания. Главное здание, находившееся в середине, где были парадные комнаты и комнаты для гостей, соединялось загибающимися с обеих сторон галереями с двумя большими флигелями. В этих флигелях, составлявших крылья главного дома, и жили в одном Сухоруков-отец, а в другом – Сухоруков-сын. Господа Сухоруковы сходились в большом доме лишь для обеда и ужина или при приеме гостей. Жизнь каждого из них проводилась отдельно. Отец и сын не мешали друг другу в своих привычках. У каждого был свой штат прислуги.

Сухоруков-сын не любил, чтобы в его флигеле находились женские лица. Своих любовниц, как, например, Машуру, он держал в стороне; он помещал их «на дачах», идеализируя, по возможности, свои отношения к этим существам.

У Сухорукова-отца были заведены другие порядки. Во флигеле у него находился один только слуга, принадлежавший к мужской половине рода человеческого. Это был вертлявый пожилой лакей по имени Егор – «домашний фигаро», как его называл Алексей Петрович. Егор, обученный парикмахерскому искусству в Москве, являлся совершенно необходимым для ежедневного «наведения красоты» на своего барина. Остальная прислуга на половине старика Сухорукова была женская, в числе коей играли роль разные «бержерки» и «психеи», взятые из дворовых девиц и вымуштрованные дебелой Лидией Ивановной, главной начальницей над женским персоналом флигеля.

Приведя себя в порядок, Василий Алексеевич перешел в кабинет. Он ждал посланного от отца и готовился к объяснениям. В кабинете он случайно взглянул на стену со старинным оружием. Кистень, который ему третьего дня принесли мужики и который он повесил между оружием, висел и теперь на своем месте.

Он остановил свой взор на этом кистене, и вся картина пережитого сна предстала пред ним. Сухоруков содрогнулся, но сейчас же пришел в себя. Решение его бросить затеянное дело было бесповоротно, и это его успокоило.

– Чаю прикажете подать? – сказал вошедший в кабинет Захар. Он остановился в дверях и смотрел на барина совершенно особенным взглядом – взглядом преданной собаки, если можно так выразиться. Это был старинный тип крепостного, истинный раб своего господина, нянчивший когда-то Василия Алексеевича на своих руках.

– Нет, не надо, – отвечал Василий Алексеевич, – я у отца буду пить.

Прошла минута молчания. Захар не двигался с места.

– Что ты так на меня уставился? – сказал наконец Сухоруков старому слуге, не сводившему глаз с барина.

– Здоровы ли вы, сударь? – проговорил Захар.

– Да ничего... – отвечал Василий Алексеевич, – особенного нездоровья не чувствую.

– Что-то бледны вы очень... И под глазками у вас нехорошо. Ох, уж эти бабы!.. Доведут они вас, – проговорил со вздохом старик.

– Это не бабы, – успокоил Захара Сухоруков. – Я просто устал.

Через минуту вошел посланный от старика Сухорукова.

– Пожалуйте к Алексею Петровичу, вас просят, – объявил он.

Василий Алексеевич отправился на половину отца.

Он застал отца в спальнной, сидящим у окна в шелковом малиновом шлафроке. Василий Алексеевич нашел его уже надушенным и завитым, с трубкой в зубах и со стаканом чая на маленьком столике. Войдя в спальню, сын поздоровался с отцом. Хорошенькая горничная из числа «бержерок» подала молодому барину чай. Когда она вышла из комнаты и затворила за собой дверь, отец, пытливо взглянув на сына, угрюмо проговорил:

– С чем нас поздравить, Василий? Ты, кажется, не в духе... И вид у тебя неважный.

Василий Алексеевич уселся против отца. Глаза его выражали решимость.

– Нехорошее дело мы затеяли, – сказал Василий Алексеевич. Он набрал, что говорится, духу, чтобы отговорить отца. – Дело это нужно бросить; оно к добру не приведет, – твердо объявил он после некоторой паузы.

– Не солоно хлебнул? – сказал старик.

– Я видел мать сегодня ночью во сне, – тихо проговорил Василий Алексеевич, – видел ее, какой она всегда была, светлой, лучезарной... но такой строгой, такой величественной, с очами, проникающими до самого сердца...

Старик сделал большие глаза и уставился на сына.

– Я видел мать, – продолжал молодой Сухоруков, все более и более воодушевляясь, – видел, как вот тебя сейчас вижу. Она вошла в комнату... Взяла меня за руку и подвела к зеркалу. Она показала мне, чем я стал. Это было что-то ужасное... И вот, одно говорю тебе, отец, – не могу, как хочешь... Не требуй от меня невозможного... И тебе советую бросить это скверное дело. Сухоруковы грабежом и убийством еще не занимались...

Алексей Петрович насупился; в его глазах сверкнул злобный огонек...

– Ты видел твою усопшую мать во сне, – отчеканивая каждое слово, злобно сказал старик, – а я вижу сейчас моего сумасшедшего сына наяву. Что с тобой, любезный дружок Васенька? – заговорил он насмешливо. – Какая это у тебя душевная красота народилась? С каких это пор? В каких ты эмпиреях плаваешь? Ты, видно, забыл, Василий, – с горечью продолжал старик, – что через две недели, если мы не добудем денег, нас отсюда вышвырнут вон, что мы будем нищими, что нам, добродетельным праведникам, господам Сухоруковым, придется идти в нахлебники, в позорную бедность...

– Не забыл я ничего, – отвечал, не смущаясь, Василий Алексеевич. – Все я помню, и понимаю, и сознаю, и все-таки знай, отец, что со своей стороны я все сделаю, чтобы затеянное не совершилось... И должен ты, отец, бросить это постыдное дело.

Старик начинал терять самообладание. Глаза его сверкали гневом. Он задыхался. Но Василий Алексеевич ничего этого не видал; ему хотелось высказаться до конца.

– Я тебе, отец, еще больше скажу, – проговорил он, желая освободить свою душу от лежавшего на ней камня. – Мне стала невыносима вся эта наша жизнь... Мне стало очень тяжело, мне надоел весь этот разврат... Но не пришлось дальше продолжать эти излияния Василию Алексеевичу. После последних его слов произошла ужасная сцена. Старик Сухоруков, вне себя от бешенства, вскочил с кресла и что есть силы ударил сына чубуком по голове.

– Сумасшедший выродок! – закричал он громовым голосом. – Лишу тебя всего... Околеешь под забором!

– Сумасшедший не я, а ты, отец! – крикнул в свою очередь Василий Алексеевич.

Он схватился за голову и выбежал из спальнной отца. Пробежал комнаты флигеля, сопровождаемый испуганными взглядами высматривающих из-за дверей робких женских лиц.

Быстрыми шагами пронесся через двор на свою половину в кабинет и бросился на диван, уткнувшись головой в подушку. Сколько он так пролежал, не помнил. Когда пришел в себя, почувствовал сильное недомогание. Началась нервная лихорадка. Его натура, здоровая и крепкая, надломилась. Да и было с чего ей надломиться. Слишком было много потрясений за этот роковой для него день.

XI

В кабинет вошел Захар и испугался, в каком положении застал он барина. Лихорадка трепала молодого Сухорукова. У него, как говорится, зуб на зуб не попадал. Глаза были воспалены, руки дрожали.

Василия Алексеевича уложили в постель, он забылся. К вечеру начался бред.

Надо было обо всем доложить старому барину. Захар решил пойти на его половину. Несмотря на то, что Лидия Ивановна не пускала Захара к старику, говоря, что «они очень расстроены», Захар пробился к Алексею Петровичу. Он доложил о серьезном недомогании молодого Сухорукова. Как ни был зол на сына Алексей Петрович, но распорядился послать лошадей за доктором в уездный город. Уездный город находился в тридцати верстах от Отрадного. Доктора успели привезти лишь на другой день утром.

Ночь у Василия Алексеевича прошла тревожная. Больной продолжал бредить. Он провел ее в каком-то кошмаре.

Ему все снился колдун с его криками и заклинаниями, костер в лесу. Снилось, что колдун кидался на Сухорукова с топором... Что он отбивался от нападений колдуна... Что, наконец, колдун всей силой навалился к нему на плечи. При этом Сухоруков чувствовал боль и тяжесть в плечах и пояснице. Это были те же ощущения сдавленности и боли, что и в тот момент, когда колдун творил в лесу свои заклинания.

Проснулся Сухоруков на другой день, когда начинало рассветать. Голова сильно болела. Удар, полученный от отца, давал себя чувствовать. Захар сидел около своего барина и с тревогой на него смотрел.

Первое ощущение во всем своем существе, которое, помимо головной боли, почувствовал Сухоруков, когда проснулся, – это ему почудилось, что словно какие-то кандалы связали его тело. Он хотел протянуть правую руку к стакану с водой, стоявшему на столике у кровати, но рука не слушалась. Она была неподвижна. Сухоруков с ужасом увидел, что она была как-то неестественно притянута к подбородку; ее, что называется, скрючило, и Василий Алексеевич ее разогнуть не мог. Левую руку он смог поднять с трудом и, жалобно застонав, потянулся за стаканом. Увидав это, Захар стал поспешно подавать барину воду. С усилием он приподнял молодого барина на постели, чтобы тот мог проглотить несколько глотков воды. Приподнявшись, Василий Алексеевич вдруг ощутил, что он встать с постели на ноги уже не может. Ноги его были как бы связаны. Они были парализованы, он ими не владел.

Василий Алексеевич был беспомощен и страшно несчастен. Он охватил слабой левой рукой шею Захара, который с нежностью и участием смотрел на своего барина, и вот Василий Алексеевич, который с малых лет никогда не плакал, вдруг зарыдал, как ребенок, припав головой на грудь верного слуги.

Приехал доктор. Осмотрев больного, он прописал лекарство и установил известный режим ухода за больным. Отправившись на половину Алексея Петровича, доктор объявил старику, что у его сына нервный удар и что положение больного серьезно.

ХП

То состояние отчаяния, граничащее с умственным и нравственным отупением, которое охватило на первых порах пораженного болезнью Василия Алексеевича, начало через некоторое время проходить. Мысль, копошившаяся в мозгу больного, требовала своей работы. Она понемногу входила в нормальную колею. И, казалось, она, эта мысль, начала бы жить совсем правильно, если бы не новое ощущение сильной боли в правой скрюченной руке, которое чувствовал больной и которое перебивало ход его размышлений.

А Василию Алексеевичу было над чем подумать – подумать после того, что пришлось ему испытать за последнее время.

Особенно неизгладимое впечатление из всего, что пережил Василий Алексеевич, оставило после себя видение его матери – видение, происшедшее хотя и во сне, но такое яркое, совсем как наяву, видение беспощадное по своей силе. Впечатление от него было настолько велико и значительно, что, по сравнению с ним, ссора с отцом теряла свою боль и остроту.

Это видение оказалось чревато серьезными последствиями для всей последующей жизни Василия Алексеевича. Оно дало зародыш появившемуся у него религиозному чувству. Раньше у Василия Алексеевича не было, в сущности, никакой религии. Не было у него также и никакого философского мировоззрения. Если он ранее и ощущал иногда как бы отдаленное признание каких-то особых сил, для него непонятных, – сил, которые делали возможным, например, страннику Никитке творить свои заговоры, то эти признания были отрывочны и случайны. Василий Алексеевич над этими силами не задумывался. Мысль обо всем подобном бесследно изглаживалась у него другими впечатлениями. Жизнь Сухорукова и без разрешения подобных загадок была сама по себе обаятельна. Эта жизнь неслась так быстро и беззаботно. Опьянение молодостью и чарами неизжитых страстей отвлекали Василия Алексеевича от серьезных вопросов – таких, например, как вопрос о том, зачем мы живем? что такое душа? есть ли потусторонняя жизнь? и прочее и прочее.

Но вот, после видения матери, Василий Алексеевич пришел к вере, что потусторонняя жизнь существует.

Для него сделалось несомненным, что мать его, Ольга Александровна Сухорукова, которую похоронили семнадцать лет тому назад, живет в ином мире, что она там о нем думает и о нем печалится... Когда Василий Алексеевич после постигшего его удара пришел несколько в себя, то осознал, что у него есть прочная опора в жизни, что у него есть защитница... Василий Алексеевич облегченно вздохнул при этой мелькнувшей у него мысли. Отчаяние стало проходить. Зародились смутные надежды на что-то лучшее, что должно к нему прийти. Ему даже почудилось, что, быть может, мать его сейчас здесь, в этой комнате... Она охранит его от всех зол.

Он упорно думал о своих новых ощущениях и надеждах, недвижимый в постели с закрытыми глазами...

Но вдруг внезапно кольнула его иная мысль, и мысль мучительная. Кольнуло его воспоминание о том, что он, Сухоруков, под влиянием какого-то ничтожного мужика Батогина решил снять с себя и забросить за печку драгоценную вещь – благословение матери... И как он мог до этого дойти?! Василий Алексеевич застонал от тяжелого воспоминания и открыл глаза.

Перед Сухоруковым стоял Захар с лекарством, прописанным барину доктором. Захар держал в руках стакан с «декохтом», сваренным из валерьянового корня (в Отрадном была своя маленькая аптека). Доктор перед отъездом показал Захару, как варить это целительное средство. Он возлагал на «декохт» большие надежды.

– Извольте, барин, выкушать, – объявил Захар. – Сейчас только сварено. Свеженькое-с.

Василий Алексеевич приподнялся с помощью Захара на постели и выпил лекарство.

– Позови Маскаева, – наконец, не без усилия, сказал Василий Алексеевич.

– Зачем вам Маскаев? Опять изволите беспокоиться, – возразил Захар.

– Не твое дело... Не сердя меня, Захар. Слушайся, когда говорят.

Захар заворчал что-то под нос, но вышел исполнять барскую волю. Через минуту он вернулся с Маскаевым.

– А теперь, Захар, уйди, – объявил Сухоруков, – и не злись, и не ворчи... Мне нужно с Маскаевым поговорить с глазу на глаз.

Захар повинился.

– Маскаев, – обратился Сухоруков к доезжачему, – не удивляйся тому, что я тебе скажу... Не удивляйся и делай то, что тебе прикажут... У меня на шее был крест золотой на цепочке... Я тогда в избе... послушался этого Батогина... забросил у него крест за печку. Мне этот крест нужен... Я без него жить не могу... Возьми двух людей из охотничьей дворни... Поезжай с ними к Батогину... Иди в его избу, где мы ночевали, и выручи, во что бы то ни стало, этот крест. Хоть печку ему всю разломаешь, но чтобы крест лежал здесь на столе, слышишь?.. Знай, что это нужно... очень нужно.

– Будет сделано, – отвечал Маскаев. – Будет так, как изволили приказать.

Маскаев вышел. Сухоруков с облегчением вздохнул. «Вот и увижусь опять с матерью, – подумалось ему... – Она всегда со мной будет. Она спасет меня».

И Василий Алексеевич закрыл глаза.

После нервного усилия при разговоре с доезжачим Сухорукова опять потянуло к забытию. Его охватила реакция полной слабости... Он скоро заснул.

Через минуту в спальню вошел Захар. Увидав, что Василий Алексеевич спит, старик остановился перед своим барином и долго смотрел на него с величайшей любовью и нежностью. Уста старого слуги шептали молитву: «Господи, сохрани и помилуй раба твоего Василия», – тихо повторял Захар.

ХІІІ

Старика Сухорукова всего поглотила только одна навязчивая идея – спасти Отрадное от продажи во что бы то ни стало. Ни о чем другом он не думал. Алексей Петрович ясно сознавал, что не пережить ему потери Отрадного, сознавал, что с Отрадным связана вся его жизнь, ибо другой жизни, вне этого владения, вне права распоряжаться отраднинскими людьми и удовлетворять свои барские прихоти, он себе представить не мог.

После описанной сцены с сыном, после этого, как определил старик Сухоруков «сумасшествия безумного мальчишки», Алексей Петрович схватился за новую, хотя и весьма шаткую, мысль добыть средства к своему спасению. В округе оставалось только одно лицо, которое, как теперь показалось Алексею Петровичу, могло бы его выручить. Но иметь отношения с этим лицом было очень трудно. Сухоруков знал, что если просить это лицо о деньгах, то предстоит перенести большие унижения и притом со слабой надеждой на успех. Этим объясняется, почему до сих пор Алексей Петрович отгонял от себя всякую идею о подобной попытке, предпочитая ей даже ограбление Незвановой. Лицо это, эта последняя слабая надежда, о которой теперь вспомнил Сухоруков, был сам господин управляющий винным откупом в уезде, некто Хряпин, местный купец, человек денежный и значительный, но большой плут и притом самодур. Отношения этого Хряпина к старику Сухорукову были скорее враждебные, хотя с внешней стороны и политичные. Хряпин прекрасно знал, что Сухоруков вредил его откупному делу своим корчемством. Все усилия Хряпина были направлены к тому, чтобы изловить Сухорукова в спаивании народа дешевой водкой, но до сих пор это ему не удавалось, несмотря на обильные подкупы исправника и местной полиции, которая, по обычаям того времени, была

вся на жаловании у откупщика. С внешней стороны Хряпин к Сухорукову был почтителен, ибо Сухоруков все-таки был большой барин и у него были связи в столицах.

К этому-то местному тузу, купцу Хряпину, Алексей Петрович и решил написать заискивающее письмо; послано оно было тотчас же после размолвки с сыном. В письме Сухоруков высказывал желание приехать к Хряпину в уездный город. Алексей Петрович намекал на предстоящее денежное дело. Хотя надежда на Хряпина была плохая, Сухоруков верил в свою силу и думал как-нибудь обойти откупщика – утопающий хватается и за соломинку.

В день приезда доктора, вызванного к заболевшему сыну, старик с нетерпением ждал почты из уездного города с новостями из Москвы, где бесполезно метался и хлопотал сухоруковский поверенный об отсрочке торгов в Опекуновском Совете. Этот поверенный в каждом письме к старику подавал отдаленную надежду на возможность отсрочки. Но Сухоруков этой надежде плохо верил.

Доктор, вызванный к молодому Сухорукову, приехал, как мы уже говорили, рано утром. Пробыл он в Отрадном только час времени, спеша уехать на операцию. Хотя доктор и сообщил старику Сухорукову, что положение сына серьезное, но тут же заверил старика, что будут приняты все меры поставить Василия Алексеевича на ноги.

Старик Сухоруков выслушал реляцию доктора с очень рассеянным видом. Ему было не до этих докторских разговоров о сыне. «Опасности для сына нет, и прекрасно». Он это только и вынес из визита доктора. Мысль о спасении Отрадного поглощала его всего.

Наконец из города привезли ожидаемую почту и подали Алексею Петровичу.

Привезли тогдашние журналы «Библиотека для чтения» и «Московский Наблюдатель», газеты «Северная пчела» и «Московские Ведомости». Алексей Петрович быстро все это отложил в сторону. – А вот, наконец, и письма! – Сухоруков вскрыл первое попавшееся ему под руку. Оказалось – совсем неожиданное из Петербурга от полицейского понытчика Саушкина, бывшего у Сухорукова на жаловании и исполнявшего разные поручения. Письмо начиналось словами: «Пути Божии неисповедимы, благодетель Вы мой, Алексей Петрович! 25-го сего июня в два часа дня скончался Ваш братец Александр Петрович от апоплексии...»

«Что такое?! – Сухоруков остановился читать. Он чуть было не ахнул. – Умер брат. Я – его наследник, – мелькнуло у него в голове. – Что такое! Чудо в решете?»

Сухоруков впился в письмо.

«... скончался Ваш братец Александр Петрович от апоплексии, – продолжал читать Сухоруков, – оставив всем нам великую скорбь о потере столь именитой особы... Радея о пользе Вашей, – читал Алексей Петрович дальше, – радея о пользе моего досточтимого благодетеля, я навел надлежащие справки, и по оным оказалось, что братец Ваш, переселившийся в небесный мир совершенно внезапно, не успел совершить духовного завещания на имя своей аманты Каролины Карловны госпожи Шпис, при нем неотлучно состоявшей и питавшей на Вашего брата большие надежды, а посему следует, что деньги брата Вашего, сиречь, ломбардные билеты в сумме двухсот тысяч рублей ассигнациями, лежащие ныне в петербургской сохранной казне, суть неотъемлемая Ваша собственность, а также дом Его Превосходительства на Горюховой в три этажа с флигелями...»

Дальше в письме было неинтересно. Сухоруков еще раз с вниманием перечитал это письмо. «Удивительно!.. Удивительно!» – мелькало у него в голове. Следующие письма были: одно – от московского поверенного о том, что надежды на отсрочку продажи имения никакой нет, и, наконец, последнее письмо от купца Хряпина с извещением, что он, Хряпин, сейчас Сухорукова принять не может, ибо завтра уезжает в губернский город по делам откупа. Скомкав эти два последние письма, Алексей Петрович с веселой улыбкой бросил их в корзину. Радостное настроение охватило его. И еще бы ему не радоваться! Ведь агония Отрадного кончилась! Ведь все пойдет по-старому и даже лучше, чем по-старому. Сухоруков мог теперь совсем, совсем спокойно сидеть в своем вольтеровском кресле.

Но при всем том Алексей Петрович сознавал, что время было на счету. Надо было действовать, не теряя ни минуты: остановить торги и принять наследство. Надо было ехать самому в Москву и Петербург.

«Все это пустяки, все это будет сделано», – думал Сухоруков. Охватившее его радостное чувство доминировало над всем, давало старику молодую энергию. С этим свалившимся так внезапно наследством он на почве. Он хорошо знает, что теперь не то, что было ранее. Теперь его послушают везде, где он будет хлопотать, послушают в Опекунском Совете, дадут необходимую отсрочку. Через месяц он вернется в Отрадное, устроив все дела, вернется с новыми затеями, с новыми планами.

Алексей Петрович распорядился сейчас же позвать к себе бурмистра Ивана Макарова.

Бурмистр, высокий старик с окладистой бородой, вошел к барину. Бурмистр этот был правая рука Алексея Петровича в его хозяйстве. Иван Макаров пользовался большим доверием своего господина.

– Сегодня я уезжаю, – объявил ему Сухоруков. – Прикажи кучерам изладить дорожный дормез и сейчас же послать подставу в Троицкое, чтобы нам в две упряжки быть на шоссейной станции. Там я ночую и завтра на почтовых в Москву и Питер. Со мной поедут Егор и повар Филипп.

Алексей Петрович дал указания бурмистру относительно уборки хлеба, которая уже началась, сделал еще необходимые распоряжения, и только когда все было налажено, успокоился.

XIV

Совершенно оживший и уверенный в себе, уверенный в своем положении, старик вспомнил наконец о сыне.

Перед его мысленным взором пронеслось все то, что за последнее время произошло в их отношениях. Алексей Петрович теперь имел возможность хладнокровно и спокойно это обдумать и, к стыду своему, не мог не признать, что сын его был прав в своем отказе идти на его отчаянную затею. Ведь, действительно, мало ли чем эта затея могла кончиться, и имя Сухоруковых могло быть опозорено уголовщиной. Сын был прав, говоря, что Сухоруковы грабежом еще не занимались. А он, отец его, за это так оскорбил сына... Положим, что и Василий был опрометчив в своей дерзости и горячности, но все же он, Алексей Петрович, нанес сыну тяжкое оскорбление, оскорбление жестокое... И вот сын его теперь лежит больной...

Старик Сухоруков словно съезжился, когда все это ему представилось. «Черт знает, как все это вышло! – проговорил он с сердцем. – Ведь сын по существу прекрасный малый, человек лихой и породистый, и огонек в нем настоящий, сухоруковский. И компаньон он отличный. Ведь это он, отец его, из-за своей прихоти уговорил Василия выйти из полка, испортил его карьеру». – Чем больше Алексей Петрович думал обо всем этом, тем более мучила его совесть. Любовь к сыну проснулась у Сухорукова с прежней силой.

В дверях показалась дебелая Лидия Ивановна, вся встревоженная; она только что узнала от бурмистра о внезапно предположенном отъезде барина.

– Вы сегодня уезжаете, – сказала она, опустив глаза. – Что такое случилось?

– Не твое дело, – отрезал Алексей Петрович, – после узнаешь. Захара мне позови, да поскорее!..

Явился Захар.

– Ну, Захарушка, здравствуй, – сказал Алексей Петрович ласково, как только на это был способен. – Ну, что твой барин?.. Доктор говорил, что это отойдет... Что, он все еще лежит?..

– Очень они плохи-с, – сумрачно отвечал Захар. – Рука у них скрючена-с, и на ногах стоять не могут. Они вместе с Маскаевым ночью за сорок верст куда-то ездили. Дорогой, надо

полагать, простудились... Теперь все у них разболелось, и мурашки по рукам и ногам бегают. Очень они жалуются. По временам даже вроде как бы судороги в ногах-с...

– Он теперь спит? – спросил Сухоруков.

– Сейчас проснулись, – отвечал Захар. – Фершал из Троицкого приехал. Будет им пивявки ставить...

– Ступай к сыну, – сказал Алексей Петрович, – предупреди его, что я сейчас приду.

Старик Сухоруков вошел к больному, когда Василий Алексеевич не спал и не был в забытии. В комнате никого не было; больной лежал под белым одеялом, лежал неподвижный, с особым, новым для Алексея Петровича выражением печальных глаз, устремленных на одну точку. На лбу Василия Алексеевича сложилась характерная поперечная морщинка. Правая рука поверх одеяла была неестественно притянута к лицу. Пальцы этой руки были как-то странно, некрасиво согнуты.

При входе Алексея Петровича взгляд сына упал на отца. Больной слабо улыбнулся и сказал:

– Вот какой я, дурак, лежу... Видишь, отец, совсем никуда я негодный...

Нелегко было Алексею Петровичу увидеть таким своего сына. Совесть мучила его, и ему хотелось каяться.

– Я пришел к тебе, Василий, – не без усилия заговорил старик Сухоруков, – пришел прощения у тебя просить...

– Пустяки, – отвечал Василий Алексеевич, – мы оба с тобой горячие... Вот и все.

– Пришел прощения просить, – продолжал Алексей Петрович. – И слышишь, Василий, чтобы не поминать нам этого... чтобы совсем забыть...

– Полно, отец, – тихо улыбнулся больной, – я тебя знаю. Когда людям круто приходится, все может случиться.

– Да что же это с тобой в самом деле? – заговорил иным тоном Алексей Петрович. – Откуда такая необыкновенная напасть? Ну, ударил я тебя – это было. Но откуда это все взялось, – говорил Алексей Петрович, указывая на скрюченную руку, – с чего ты обезножел?

– Не спрашивай, долго рассказывать, – отвечал Василий Алексеевич. – Завтра расскажу, когда соберусь с силами...

– Завтра не придется, Васенька. Завтра я буду далеко отсюда, буду катить на почтовых в Питер... Да что же это я? Я тебе еще главного не сказал! – спохватился Алексей Петрович. – Дядюшка-то твой Александр Петрович, сенатор-то наш, приказал долго жить... И представь себе, он оставил нам наследство, и порядочное, больше двухсот тысяч... Это совершенно как в сказке... Совсем даже невероятно.

– Я так и знал, что все обойдется, – спокойно, без всякого удивления отозвался на эту новость больной. – Мать нас недаром удержала...

При этих словах на лице Василия Алексеевича появилась торжествующая улыбка...

– Недаром она нас удержала, – повторил он, – а ты мне тогда не поверил... Теперь сам видишь...

Сказав это, Василий Алексеевич с той же торжествующей блаженной улыбкой закрыл глаза и добавил:

– Видишь, как хорошо все вышло... И я выздоровлю; я в этом не сомневаюсь, а ты поезжай...

Алексей Петрович понял, что не следует больше тревожить сына. Он подошел к нему, наклонился и поцеловал его в лоб с искренним горячим чувством.

– Поправляйся, Васенька, поправляйся, – сказал он. – Я тоже не сомневаюсь, что ты поправишься. А меня ты совершенно прости, – сказал он еще раз. – Ведь оба мы с тобой такие сумасшедшие... Что поделаешь!.. Такая уж наша порода сухоруковская.

В этот же день Алексей Петрович выехал из Отрадного в Петербург.

XV

Из своей командировки возвратился доезжачий Маскаев и порадовал Василия Алексеича удачей. Он привез молодому барину отысканную драгоценность – крест на золотой цепочке. Все обошлось благополучно. Колдун против обыска не спорил. «Барин ваш сам закинул свое добро, – говорил он охотникам, – ну и ищите евою вещь, коли он вас за ней прислал... Очень мне она нужна».

Ощущая на шее драгоценный крест, Сухоруков нравственно ободрился – тяжелый камень свалился у него с сердца.

Приехал доктор. Он нашел в больном некоторое улучшение и решил поставить Василия Алексеича на костыли. Доктор боялся только, что согнутая рука больного будет этому мешать. Однако с помощью левой руки, державшей костыль довольно твердо, и с помощью Захара, охватившего молодого барина за талию, Василия Алексеича удалось пересадить с постели на кресло к открытому окну. Правда, ноги его были слабы, но не настолько, чтобы больной не мог ими передвигать.

Сидя в кресле, Василий Алексеич жадно впивал в себя свежий воздух. Ему вдруг безумно захотелось покурить. Доктор и это позволил, и тогда Сухоруков, страстный курильщик, с наслаждением начал затягиваться из поданной Захаром трубки, набитой знаменитым в те времена «Жуковым» табаком. Больной видимо оживал. Ему хорошо сиделось у окна, расположенного в тени на северной стороне дома.

Ободрив больного надеждой на выздоровление и дав несколько указаний, доктор сейчас же уехал. В то время в докторах была всеобщая нехватка; доктор был один на целый уезд.

Хорошо сиделось у окна Василию Алексеичу. Стояла чудесная погода; было совсем тихо и нежарко. День клонился к вечеру. Косые тени от дома и деревьев тянулись по зеленому газону; перед окном был богатый цветник, а дальше видна была старая липовая аллея, густая и тенистая.

Василий Алексеич отдался своим размышлениям. Размышления же его были все те же – он старался проникнуть в существо пережитых им за последнее время впечатлений, и вот у него начала слагаться своя очень оригинальная религия, совсем отличная от христианской. Христианскую религию он продолжал по-старому не признавать. Христос для него был просто человек – человек, несомненно, великий, но, по существу, такой же пророк, как и другие пророки, как, например, Магомет или Зороастр. Если народ верит в Христа – это очень хорошо, – думал Василий Алексеич, – но эта религия не для него, Сухорукова. Он выше этих детских воззрений... Какая же его вера?.. Какие его основы?..

У Василия Алексеича начинало слагаться верование, что в мире имеются две категории сверхприродных сил, которые, как он теперь убедился, влияют на людей. Силы зла и силы добра. Силы эти приходят к человеку извне; но не все люди это понимают и чувствуют. Многим кажется, что они сами в себе эти силы носят. Он же, Сухоруков, теперь узнал, что есть как бы особые вихри зла и добра, которые существуют независимо от людей и на людей влияют. Вихри злые иногда всецело захватывают существа слабые или страстные, и те им отдаются и борются с ними не могут, принимая их за что-то роковое, – отсюда понятие о роке у древних. Но между этими вихрями есть и силы добрые, охраняющие человека. Когда он, Сухоруков, с Батогиным колдовали в лесу, разве не добрые силы оградили тогда старуху Незванову от ударов колдуна?.. Есть между людьми такие счастливицы, как, например, он, Сухоруков, у которых имеются свои добрые защитники... Его, Василия Сухорукова, доброе божество – это его мать... Только он этого раньше не знал, а теперь недавно в этом убедился. Не будь матери, он совсем бы погиб от вихрей злых и, что всего ужаснее, погиб бы нравственно...

«Колдун Батогин, – продолжал думы свои Сухоруков, – несомненно раб злого духа, сознательный дьявольский слуга. Кроме зла в нем самом, этого человека захватил особый наносный вихрь дьявольской силы».

Не поддавался только определению Василия Алексеевича странник Никитка. Никитка был заражен таинственными влияниями, действовал как бы от них... «Это было так; – признал Сухоруков, – но какие это были влияния? Ведь Никитка вылечил Машуру... Стало быть, сделал доброе дело, а вот его, Сухорукова, он натравил на колдуна, и, не спаси его умершая мать, он погиб бы нравственно безвозвратно».

И думы Сухорукова остановились опять на матери – на этом его божестве. Он словно видел ее перед собой, и у него явилась даже особая потребность прибегать к этому своему божеству в молитве, прибегать к нему для ограждения себя на будущее время от злых влияний. Он начал даже сочинять молитву... Он будет читать матери эту молитву каждый день утром и вечером... Будет призывать ее на помощь...

Размышления Василия Алексеевича прервал вошедший Захар.

– К вам гостья, – доложил он, – навестить пришла...

– Какая гостья? – словно очнувшись от сна, проговорил Василий Алексеевич.

– Марья Васильевна-с... Говорит, по вас соскучилась...

– А, Машура!.. Что ж!.. Зови. Очень рад, – сказал Сухоруков.

Через минуту вошла Машура.

Сухорукова удивило, что она была одета в черное, точно монастырская послушница; только на голове у нее был беленький платочек. До сих пор, когда она приходила к барину, она всегда наряжалась в цветные наряды, в чрезвычайный по яркости сарафан, в шелковый красный платок. Шея Машуры всегда украшалась ожерельями из красных и белых бус.

– Здравствуйте, милый барин, – сказала Машура, – что это с вами за беда приключилась?..

– Ты мне раньше скажи, – отвечал ей Сухоруков, – что это с тобой сделалось? Почему ты такая черная ходишь? Разве кто умер у тебя?..

Машура опустила глаза.

– В скит я собрамшись, – тихо сказала она, – проситься в скит пришла...

– Опять ты за старое, – сказал Василий Алексеевич, – опять эти скиты в голове.

– Барин мой дорогой, отпусти ты меня хоть на месяц на один.

Сухоруков покачал головой.

– Не понимаю, – проговорил он, – с чего тебя в эти раскольничьи скиты тянет?

– Оказия такая вышла, барин мой милый. Вчера моя крестная мать оттуда приехала, она маменьки моей свояченица. У нее и лошади свои, зовет погостить... Очень уж хочется мне помолиться, тамошнего Христа повидать...

– Христа! Какого Христа?.. – не без удивления спросил Сухоруков.

– А такой у них Христос объявился, – отвечала Машура, – божественный человек; чудеса он творит. Отпустишь меня, жалеть не будешь... Я у него об тебе похлопочу. Он твою болезнь вылечит...

– Спасибо за хлопоты, – сказал Василий Алексеевич, – и без него вылечусь... У меня своя вера есть...

– Крестная мать говорит, что тот бог, который у них, совсем особенный...

– Да чего ты взбеленилась к этому особенному богу?..

– Не взбеленилась я, а мне вроде как бы указание было, – таинственно проговорила Машура.

Сухоруков большими глазами смотрел на гостью. «И у нее своя душевная работа идет», – подумалось ему. Он увидел сейчас в Машуре большую перемену. Матовое лицо с черными

бровями и длинными ресницами было серьезно и строго. Глаза словно потемнели. От прежней вакханки не осталось и следа.

– Ты говоришь, было тебе указание... Какое указание? – спрашивал Сухоруков.

– Вы, барин, будете смеяться...

– Не буду я смеяться... чего ты прячешься.

– Напрасно я только начала, – упиралась Машура.

Сухоруков не унимался, стал настаивать. Наконец он добился. Машура рассказала все.

– Ты помнишь, барин дорогой, – начала она, – какие у меня страшные раньше сны были. Я всегда была такая. Все меня нет-нет и потревожит... либо сны вижу, либо что наяву чудится. И вот, после этих злых снов ко мне теперь другое стало приходить... стала приходить радость большая... Третьего дня пошла я за грибами рано утром... Утришко было чудесное... Такое было утро, что никогда его не забуду. Стало солнышко всходить; все словно золотом покрылось. Вышла я на поляну. Стою, люблюсь... Сладость какая-то меня взяла, и стала я чувствовать, что начинаю от радости кружиться, и вдруг чувствую, что поднимаюсь с земли... Мне кажется, что меня поддерживает что-то... Все кругом меняется... Леса, поля, горы. Все будто плывет, и чудится мне, что возношусь я все выше и выше и там в небесах несусь... И вижу такой свет, такой свет!..

– Потом я опомнилась... опять на поляне стою... После этого видения домой пришла и что же вижу? Дома у нас моя крестная мать сидит, Таисой ее зовут, она только что приехала и, что самое удивительное, меня Таиса такими словами встречает: наш Христос тебе, говорит, кланяться велел. В скит тебя зовет. К нам, Маша, поедem, погостишь у нас...

– Да кто же этот ваш чудотворец? – допытывался Сухоруков. – Откуда он? Как его зовут?

– Таиса наказывала мне об нем не болтать... Даже матери не говорить. Ты никому не скажешь, коли открою? – сказала с некоторым страхом Машура.

– Конечно, не скажу. И чего ты боишься, право, не понимаю.

– Это Ракеев Максим Васильевич, чернолуцкий купец, – таинственно объявила Машура. – Вроде как Христос, как Бог настоящий...

– Странные новости от тебя я слышу, – произнес после некоторого молчания Сухоруков.

И надо сказать, что все, что Василий Алексеевич услышал от Машуры, получило для него теперь особое значение. Машура стояла перед ним в новом освещении; он смотрел на нее совсем иными глазами.

– Так отпустишь меня с Таисой в скит ихний? – продолжала приставать Машура.

Кончилось тем, что Сухоруков не смог ей отказать. Он согласился. Она простилась с баринoм и, счастливая, отправилась на свой хутор.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Приехавшая издалека в Отрадное крестная мать Машуры, Таиса, была бездетная вдова. Она жила уже два года в глухих чернолуцких лесах. Местность, где она теперь пребывала, находилась более чем за двести верст от Отрадного. Таиса была старой приятельницей Евфросиньи и приехала к ней не без цели. Таиса давно знала Машу, дочь Евфросиньи, и любила ее. Было время, когда Таиса жила близко от Отрадного вместе со своим мужем, который был казенным крестьянином в соседней волости. Таиса тогда часто навещала Отрадное, крестила у Евфросиньи единственную дочь и взялась даже учить девочку грамоте, когда та подросла. Сама же Таиса натерела грамоте еще в молодости у дьячка; она имела большое тяготение читать духовные книги. Дочь Евфросиньи Машура, в свою очередь, любила крестную и с восторгом всегда слушала, как та ей рассказывала интересные эпизоды из жизни святых. Машура оказалась способной в учении, но скоро его пришлось прекратить. С потерей мужа бездетная Таиса ушла в чернолуцкие леса и предалась там «духовному житию» в одной сектантской общине. После ухода Таисы и поселения в общине к ней дошла весть, что Маша, которой было тогда уже семнадцать лет, стала жить «в грехе» с молодым отраднинским барином, что он взял ее за красоту в полюбовницы и поселил с матерью у себя на хуторе.

У Таисы явилось желание во что бы то ни стало выволить Машуру из крепостного состояния, выволить ее из того греха, в который она попала. «Можно будет, – думалось ей, – выкупить Машу у господ Сухоруковых». Такие выкупы у сектантов делались в те времена нередко. Деньги на это давались добрыми людьми, поддерживавшими сектантские общины. Надо было только самой Таисе сначала укрепиться в общине; кроме того, надо было заманить Машу к себе на побывку. Все это пока ладилось, планы Таисы начали осуществляться. За те два года, что Таиса основалась в общинной обители, ее там оценили – оценили ее благочестие и грамотность; она была сделана «духовницей». На нее было возложено привлекать в общину молодых девиц, способных на духовные подвиги. И вот теперь она повезет к себе крестницу, она приручит ее там... А деньги они для выкупа найдут. Максим Васильевич Ракеев поможет.

Ракеев жил на границе лесной чернолуцкой глуши в небольшом селении Виндреевке на берегу реки Роски, бравшей свое начало в чернолуцких лесах. По этой реке и по ее маленьким притокам, расплзавшимся в лесах и разливавшимся в половодье, виндреевские казенные крестьяне плавил лес в дальние промышленные города. Чернолуцкие леса были большие; часть их считалась принадлежащей казне, часть принадлежала князьям Стародубским. Всего было несколько сот тысяч десятин; смотрение за этими лесами тогда было слабое, и промысел для виндреевских крестьян был выгодный. На нем особенно разбогател умерший лет двадцать назад старик Ракеев, отец Максима Васильевича. Он оставил сыну, как говорили мужики, «большие тыщи».

Максим Васильевич Ракеев жил в Виндреевке в собственном большом доме, резко выделявшемся между другими крестьянскими домиками. Ракеев был вдов и бездетен. В глазах местных властей он считался православным. Он посещал по большим праздникам православный храм, находившийся в ближайшем селе, отстоящем от Виндреевки в пятнадцати верстах, ладил с попом, ежегодно исповедывался у него и причащался, а сам под шумок основывал общины – обители в чернолуцких лесах. Он купил для этих обителей у князей Стародубских около тысячи десятин. Он называл свои общины «божиими питомниками». Ко времени нашего рассказа таких «божиих питомников» он основал два. В одном из них и устроилась Таиса.

Местные власти знали, что Ракеев втайне принадлежал к секте «божих людей», или «хлыстов», что он среди хлыстов – один из главных деятелей, что обители, которые он поддерживал, не были раскольничьими скитами, а были в сущности хлыстовскими общинами, но Максим Васильевич умел ладить со всеми. Он не жалел денег на «подмазку». Все, кого следовало купить, были куплены Ракеевым. К тому же, места были около Виндреевки глухие. Становой жил в тридцати верстах, священник – в пятнадцати верстах. Обители «божих людей» были устроены еще дальше, в самой глуши. И власти оставляли все это в покое и самого Ракеева не трогали. Все шло благополучно.

Таиса, обосновавшаяся в одной такой общине, давно имела тяготение к хлыстовству. Года два тому назад судьба столкнула ее с Максимом Васильевичем в Москве, куда она ходила на богомолье. С ним она познакомилась у известной в Москве хлыстовской пророчицы Борисовой. Ракеев был там весьма почитаем. Таиса слышала о его благотворительности. Бедная, одинокая крестьянка, она искала себе пристанища в общине «духовных христиан», как тогда именовали себя хлысты. Ракеев обратил на нее внимание; он поместил ее в свою общину. Таиса глубоко в него уверовала. Она беззаветно отдалась служить его делу. И теперь уже год, как она «духовница». Она исполняет его указания «пещись об умножении их братьев, пещись о привлечении молодых девушек в обитель». В обители этим девушкам внушали «праведное житие и истинную веру». Ракеев постоянно говорил своей духовнице, что «горячих к подвигу девушек любит Бог, и если они от чистого сердца последуют за ним, Ракеевым, то он им приготовит славные венцы».

II

Погостив у Евфросиньи три дня и уговорив Машуру ехать с собой, Таиса отправилась с ней в «скит» вдвоем. Евфросинья осталась на хуторе из-за хозяйственных дел. На хуторе была земля, отданная ей и дочери в пользование господами. Надо было убраться с хлебом. Евфросинья не была посвящена в планы и тайную деятельность Таисы. Она не знала, что обитель, куда везла Таиса Машуру, была хлыстовская. Надо сказать, что народ в те времена, как и теперь, хлыстов осуждал, называя хлыстовство «темной сектой». Евфросинья думала, что Таиса живет в обыкновенном староверческом скиту, которых было тогда немало. Евфросинья сама имела влечение к старой вере, к раскольничьим скитам. Староверы-раскольники были и в числе сухоруковских крестьян. Поэтому Евфросинья с легким сердцем отпустила свою дочь с Таисой в «скит», тем более и барин позволил. Старуха не сомневалась, что дочь ее скоро вернется.

Нашим странникам предстояло совершить немалый путь – сначала в Виндреевку, где жил Максим Васильевич, а оттуда они предполагали добраться до обители. Ехали они до Виндреевки более четырех суток. Езда была с многочисленными остановками и ночевками. Путешествие совершалось в кибитке, запряженной парой лошадок. Кучером у них был старик Афиноген, молчаливый мужик, взятый Таисой в Виндреевке из ракеевских рабочих.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.